

Жан-Поль САРТР

СЛОВА

Я обрел свою религию: книгу



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФОЛИО»

Слова

Жан-Поль Сартр

Аннотация
Жан-Поль Сартр. СЛОВА
ЧИТАТЬ. (пер. Ю. Яхниной)
ПИСАТЬ. (пер. Л. Зониной)

Аннотация

В детстве Сартр насочинял себе немало ролей, одна из которых — писатель. В автобиографической повеести «Слова» он вспоминает, что в библиотеке его «забавляли задумчивые дамы, скользившие от полке к полке в тщетных поисках автора, который насытил бы их голод; они и не могли его найти, ведь им был я — мальчик, путавшийся у них под ногами, а они не смотрели в мою сторону». Как ни странно, но эта выдумка оказалась пророческой...

Жан-Поль Сартр
СЛОВА

Госпоже Z

ЧИТАТЬ
(пер. Ю. Яхниной)

В конце сороковых годов прошлого века многодетный школьный учитель-эльзасец с горя пошел в бакалейщики. Но расстрига-ментор мечтал о реванше: он пожертвовал правом пестовать умы — пусть один из его сыновей пестует души. В семье будет пастырь. Станет им Шарль. Однако Шарль предпочел удрать из дому, пустившись вдогонку за цирковой наездницей. Отец приказал повернуть портрет сына лицом к стене и запретил произносить его имя. Кто следующий? Огюст поспешил заклать себя по примеру отца, он стал коммерсантом и преуспел. У младшего, Луи, выраженных склонностей не было. Отец сам занялся судьбой этого невозмутимого парня и, не долго думая, сделал его пастором. Впоследствии Луи простер сыновнюю покорность до того, что в свой черед произвел на свет пастыря — Альбера Швейцера, жизненный путь которого всем известен. Меж тем Шарль так и не догнал свою наездницу. Символический жест отца наложил на него неизгладимую печать: у него на всю

жизнь сохранилась склонность к возвышенному и он лез из кожи вон, раздувая мелкие происшествия до размера великих событий. Иначе говоря, он вовсе не стремился заглушить в себе семейное призвание — он хотел лишь посвятить себя духовной деятельности более либерального толка, принять сан, совместимый с наездницами. Университетское поприще оказалось в самый раз. Шарль решил стать преподавателем немецкого языка. Он защитил диссертацию о Гансе Саксе, сделался приверженцем «прямого метода», объявив себя впоследствии его основоположником, выпустил в содружестве с господином Симонно солидный учебник «Deutsches Lesebuch», быстро пошел в гору: Макон — Лион — Париж. В Париже на выпускном вечере он произнес речь, удостоившуюся отдельного издания: «Господин министр! Дамы и господа! Дорогие дети! Вы никогда не угадаете, о чем я буду говорить с вами сегодня! О музыке!» Он набил руку в стишках на случай. В кругу семьи любил повторять: «Луи у нас самый благочестивый, Огюст самый богатый, я самый умный». Братья хохотали, невестки кусали губы.

В Маконе Шарль Швейцер женился на Луизе Гийемен, дочери адвоката-католика. Свадебное путешествие она вспоминала с отвращением.

Похитив невесту в разгар обеда, жених втолкнул ее в поезд. В семьдесят лет она все еще не могла забыть, как в каком-то привокзальном буфете им подали салат из лука-порея: «Шарль съел все луковицы, а зелень оставил мне». Две недели они прожили в Эльзасе и все это время не вылезали из-за стола. Братья изощрялись в ватерклозетных анекдотах на местном диалекте; по временам пастор оборачивался к Луизе и из христианского милосердия переводил их.

Луиза не преминула раздобыть по знакомству медицинское свидетельство, которое избавляло ее от исполнения супружеских обязанностей и давало право обзавестись отдельной спальней. Она жаловалась на головные боли, чуть что укладывалась в постель, возненавидела шум, страсти, восторженность — все грубое бытие Швейцеров, земное и театральное. Эта живая, но холодная насмешница мыслила здраво и предосудительно, потому что муж мыслил благонамеренно и несуразно, а так как он был лжив и легковерен, она все подвергала сомнению: «Говорят, будто земля вертится, — откуда им это знать?» Окруженная добродетельными комедиантами, она возненавидела комедиантство и добродетель. Утонченная реалистка, затесавшаяся в семью спиритуали-

стов-мужланов, стала вольтерьянкой, не читав Вольтера, из духа противоречия. Маленькая, пухленькая, циничная и игривая, она ударилась в безоговорочное отрицание. Пожатьем плеч, иронической улыбкой ради собственной утехи — не для окружающих — она сводила на нет все напыщенные тирады. Ее снедали гордыня всеотрицания и эгоизм неприятия. Она ни с кем не поддерживала отношений — слишком самолюбивая, чтобы домогаться первого места, слишком тщеславная, чтобы довольствоваться вторым. «Умейте поставить себя так, чтобы вас искали», — твердила она. Ее искали усердно, потом все меньше и меньше и, наконец, не видя ее, забыли. Теперь она не покидала своего кресла и кровати.

Плотоугодники и пуритане — сочетание добродетелей, куда более распространенное, чем это принято считать, — Швейцеры любили крепкое словцо, которое, принижая плоть, как это приличествует христианскому благочестию, в то же время свидетельствует о широкой терпимости к ее естественным проявлениям; Луиза предпочитала двусмысленности. Она зачитывалась фривольными романами, ценя в них не столько фабулу, сколько прозрачные одежды, в которые

ее рядили. «Весьма рискованно и мило», — с намеком замечала она. «Здесь скользко — будьте осторожны!» Эта женщина-ледышка едва не лопнула со смеху, читая «Пламенную деву» Адольфа Бело. Она любила рассказывать анекдоты о брачной ночи, всегда с плохим концом: то муж в грубом нетерпении ломал жене шею о спинку кровати, то потерявшую рассудок новобрачную находили на шкафу, куда она пряталась от своего благоверного.

Луиза жила в полумраке; Шарль входил в ее комнату, распахивал ставни, зажигал все лампы разом, она стенала, прикрывая рукой глаза: «Шарль, я ослепну!» Впрочем, ее протест не выходил за рамки парламентской оппозиции. Шарль пугал Луизу, вызывал нестерпимое раздражение, временами, наоборот, даже приязнь, она хотела одного — чтобы он ее не трогал. Но как только он начинал кричать, она сдавала все позиции. Он нахрапом сделал ей четырех детей: дочь, умершую в младенчестве, двух сыновей и еще одну дочь. То ли по равнодушию, то ли в знак лояльности он разрешил воспитать детей в католической вере. Безбожница Луиза из ненависти к протестантству внушила детям набожность. Оба сына взяли сторону матери. Она их потихоньку спровадила

подальше от необузданного отца. Шарль этого даже не заметил. Старший, Жорж, поступил в Политехнический, младший, Эмиль, стал учителем немецкого. Он для меня загадка. Оставшись холостяком, он во всем остальном подражал отцу, хотя и не любил его. В конце концов отец с сыном поссорились; время от времени происходили торжественные примирения. Эмиль напускал на себя таинственность. Он обожал мать и до конца дней имел привычку без всякого предупреждения наносить ей украдкой визиты: осыпал ее поцелуями и ласками, затем начинал разговор об отце, сперва иронически, потом с яростью, а на прощанье хлопал дверью. Очевидно, Луиза любила его, но побаивалась. Эти крутые упрямцы — отец и сын — утомляли ее, и она предпочитала им Жоржа, который всегда отсутствовал. Эмиль умер в 1927 году, рехнувшись от одиночества; у него под подушкой обнаружили револьвер, а в чемоданах две сотни дырявых носков и двадцать пар стоптанных ботинок.

Анн-Мари, младшая дочь, все свое детство просидела на стуле. Ее научили скучать, держаться прямо и шить. У Анн-Мари были способности — из приличия их оставили втуне; она была хороша собой — от нее постарались это скрыть.

Скромные и гордые буржуа Швейцеры считали, что красота им не по карману и не к лицу. Они уступали ее графиням и шлюхам. Луизу снедала бесплоднейшая спесь: из боязни попасть впросак она не признавала ни за детьми, ни за мужем, ни за собой самых очевидных достоинств. Шарль не понимал, кто красив, кто нет, — он путал красоту со здоровьем. С тех пор как его жена хворала, он искал утешения у дюжин идеалисток, усатых и цветущих — кровь с молоком. Пятьдесят лет спустя, рассматривая семейный альбом, Анн-Мари обнаружила, что была красавицей.

Примерно в то самое время, когда Шарль Швейцер познакомился с Луизой Гийемен, некий сельский врач взял в жены дочь богатого землевладельца из Перигора и обосновался с ней в Тивье на унылой главной улице, прямо против аптеки. Наутро после свадьбы обнаружилось, что у тестя нет ни гроша. Взбешенный доктор Сартр перестал разговаривать с женой и в течение сорока лет не сказал ей ни слова. За столом он изъяснялся жестами, и она в конце концов стала звать его «мой постоялец». Тем не менее он делил с ней ложе и время от времени, все так же не открывая рта, делал ей очередного ребенка: она родила ему двух сыновей и дочь. Этих детей

безмолвия нарекли Жан-Батист, Жозеф и Элен. Элен немолодой уже девицей вышла замуж за кавалерийского офицера, который впоследствии сошел с ума. Жозеф, отслужив свой срок в зуавах, поспешил уйти в отставку и вернуться в отчий дом. Профессии у него не было. Очутившись между немым отцом и крикливой матерью, он стал заикой и до конца дней враждовал со словами. Жан-Батист поступил в мореходное училище, чтобы повидать море. В 1904 году в Шербуре, морским офицером, уже подточенным тропической лихорадкой, он познакомился с Анн-Мари Швейцер, окрутил эту заброшенную долговязую девушку, женился на ней, в два счета наградил ребенком — мной — и сделал попытку умыть руки, отойдя в иной мир.

Но умереть не так-то просто: тропическая малярия развивалась не спеша — временами наступало улучшение. Анн-Мари самоотверженно ухаживала за мужем, не позволяя себе, однако, такого неприличия, как любовь. Луиза настроила дочь против супружества: кровавый обряд открывал собой вереницу ежедневных жертв вперебивку с еженощной пошлостью. По примеру собственной матери, моя мать предпочла долг утехам. Она почти не знала отца ни до, ни после

свадьбы и, должно быть, порой с недоумением спрашивала себя, с чего этому чужаку взбрело на ум испустить дух у нее на руках. Больного перевезли на мызу неподалеку от Тивье, отец ежедневно наведывался к сыну в двуколке. Бдения и заботы подорвали силы Анн-Мари, у нее пропало молоко, меня отдали кормилице, жившей по соседству, и я тоже приложил все старания, чтобы отправиться на тот свет от энтерита, а может, просто в отместку. В двадцать лет моя мать, неопытная и одинокая, разрывалась между двумя умирающими, совершенно ей незнакомыми. Ее брак по рассудку обернулся болезнью и трауром.

Меж тем обстоятельства играли мне на руку: в ту пору матери сами кормили новорожденных и кормили долго. Не подоспей, на мое счастье, эта двойная агония, мне не миновать бы опасностей, которым подвергается ребенок, поздно отнятый от груди. Но я был болен, и когда меня, девятимесячного, пришлось отлучить от груди, в лихорадке и бесчувствии взмах ножниц, которыми разрезают последнюю нить, связывающую мать с младенцем, прошел для меня незамеченным. Я окунулся в мир, населенный примитивными галлюцинациями и первородными фетишами. После смерти отца мы с Анн-Мари

оба разом очнулись от наваждения, я выздоровел. Но вышла неувязка: Анн-Мари обрела любимого сына, которого по сути дела никогда не забывала, я пришел в себя на коленях у незнакомки.

Оказавшись без средств, без образования, Анн-Мари решила вернуться под отчий кров. Но Швейцеры были уязвлены неподобающей смертью моего отца: уж очень она походила на развод. А так как моя мать не смогла ни предвидеть ее, ни предотвратить, ответственность возложили на нее: она легкомысленно выскочила замуж за человека, нарушившего правила благопристойности. Долговязую Ариадну, возвратившуюся в Медон с младенцем на руках, приняли как нельзя лучше: мой дед, подавший было в отставку, вернулся на службу, ни словом не попрекнув дочь; даже бабка не выказала злорадства. Но, подавленная благодарностью, Анн-Мари в безупречном обхождении угадывала хулу. Что и говорить, родня предпочитает вдову матери-одиночке — но только как меньшее из двух зол. Стремясь заслужить отпущение грехов, Анн-Мари не щадила своих сил. Она взвалила на свои плечи хозяйство — сначала в Медоне, потом в Париже, была одновременно гувернанткой, сиделкой, домоправительницей, компаньонкой и служанкой, но

ей так и не удалось смягчить затаенную досаду матери. Луизе надоело начинать день составлением меню и кончать его проверкой счетов, но ей было не по нутру, когда обходились без нее, — она не прочь была избавиться от обязанностей, но не желала терять прерогативы. Стареющая и циничная, Луиза сохранила одну-единственную иллюзию: она считала себя незаменимой. Иллюзия рассеялась — Луиза преисполнилась ревности к дочери. Бедняжка Анн-Мари! Сиди она сложа руки, ее бы попрекали, что она обуза, но она не покладала рук, и ее заподозрили в том, что она хочет стать хозяйкой в доме. Чтобы обойти первый риф, ей пришлось призвать на помощь все свое мужество, чтобы обойти второй, — все свое смирение. Не прошло и года, как молодая вдова вновь оказалась на правах несовершеннолетней — девицы с пятном на репутации. Никто не лишал ее карманных денег — ей просто забывали их дать; она донашивала платье чуть ли не до дыр, а деду не приходило в голову купить ей новое. Даже в гости ее неохотно отпускали одну. Когда подруги, большей частью замужние дамы, приглашали ее, им приходилось загодя испрашивать соизволения деда, обещая при этом, что его дочь доставят домой не позже десяти.

Посреди ужина вызывали экипаж, хозяин дома вставал из-за стола, чтобы проводить Анн-Мари. А тем временем дед в ночной рубашке мерял шагами спальню, не выпуская из рук часов. На десятом ударе разражалась гроза. Приглашения поступали все реже, да и мать потеряла охоту к развлечениям, которые доставались такой дорогой ценой.

Смерть Жан-Батиста сыграла величайшую роль в моей жизни: она вторично поработила мою мать, а мне предоставила свободу.

Хороших отцов не бывает — таков закон; мужчины тут ни при чем — прогнили узы отцовства. Сделать ребенка — к вашим услугам; *иметь* детей — за какие грехи? Останься мой отец в живых, он повис бы на мне всей своей тяжестью и раздавил бы меня. По счастью, я лишился его в младенчестве. В толпе Энеев, несущих на плечах своих Анхизов, я странствую в одиночку и ненавижу производителей, всю жизнь незримо сидящих на шее родных детей. Где-то в прошлом я оставил молодого покойника, который не успел стать моим отцом и мог бы теперь быть моим сыном. Повезло мне или нет? Не знаю. Но я обеими руками готов подписаться под заключением известного психоаналитика: мне неведом ком-

плекс «сверх-я».

Умереть — это еще далеко не все: важно умереть вовремя. Скончайся мой отец позднее, у меня появилось бы чувство вины. Сирота, сознающий свое сиротство, склонен себя корить: опечаленные лицезрением его персоны родители удалились в свое небесное жилье. Я блаженствовал: моя печальная участь внушала уважение, придавала мне вес; сиротство я причислял к своим добродетелям. Мой отец любезно отошел в вечность по собственной вине — бабушка постоянно твердила, что он уклонился от исполнения долга. Дед, по праву гордившийся живучестью Швейцеров, не признавал смерти в тридцатилетнем возрасте: в свете столь подозрительной кончины он стал сомневаться, существовал ли вообще когда-нибудь его зять, и в конце концов предал его забвению. А мне даже не пришлось забывать: покинув земную юдоль на английский манер, Жан-Батист не удостоил меня знакомством. Я и по сей день удивляюсь, как мало знаю о нем. Меж тем он любил, хотел жить, понимал, что умирает, — иначе говоря, был человеком. Но к этой человеческой личности никто из членов моей семьи не пробудил во мне интереса. Долгие годы над моей кроватью висел портрет малень-

кого офицера с простодушным взглядом, круглым лысым черепом и большими усами; когда мать вышла замуж второй раз, портрет исчез. Позднее мне достались книги покойного: трактат Ле Дантека о перспективах науки, сочинение Вебера «Через абсолютный идеализм к позитивизму». Как и все его современники, Жан-Батист читал всякий вздор. На полях я обнаружил неразборчивые каракули — мертвый след недолго горевшего пламени, живого и трепетного в пору моего появления на свет. Я продал книги: что мне было за дело до этого покойника? Я знал о нем понаслышке, не больше чем о Железной Маске или шевалье д'Эоне, и то, что было известно, не имело ко мне никакого отношения; даже если он и любил меня, брал на руки, смотрел на сына своими светлыми, ныне истлевшими глазами, никто не сохранил в памяти этих бесплодных усилий любви. От моего отца не осталось ни тени, ни взгляда — мы оба, он и я, какое-то время обременяли одну и ту же землю, вот и все. Меня воспитали в сознании, что я не столько сын умершего, сколько дитя чуда. Этим наверняка и объясняется мое беспримерное легкомыслие. Я не вождь и не хотел бы быть вождем. Повелевать и подчиняться — это, в сущности, одно и то же. Самый полновласт-

ный человек всегда повелевает именем другого — канонизированного захребетника, своего отца, и служит проводником абстрактной воли, ему навязанной. Я отродясь не отдавал приказаний, разве чтобы посмешить себя и окружающих. Язва властолюбия меня не разъедает, немудрено — меня не научили послушанию.

Слушаться — но кого? Мне показывают юную великаншу и говорят, что это моя мать. Сам я склонен считать ее скорее старшей сестрой. Мне совершенно ясно, что эта девственница, проживающая под надзором, в полном подчинении у всей семьи, призвана служить моей особе. Я люблю Анн-Мари, но как мне ее уважать, когда никто ее в грош не ставит? У нас три комнаты: кабинет деда, спальня бабушки и «детская». «Дети» — это мы с матерью: оба несовершеннолетние, оба иждивенцы. Но все привилегии принадлежат мне. В *мою* комнату поставили девичью кровать. Девушка спит одна, пробуждение ее целомудренно: я еще не открыл глаза, а она уже мчится в ванную комнату принять душ; возвращается она совершенно одетая — как ей было меня родить? Она поверяет мне свои горести, я сострадательно выслушиваю; со временем я на ней женюсь и возьму под свою опеку. Мое слово нерушимо: я

не дам ее в обиду, пущу в ход ради нее все свое юное влияние. Но неужто я стану ее слушаться? По доброте душевной я снисхожу к ее мольбам. Впрочем, она никогда ничего от меня не требует. Словами, оброненными как бы невзначай, набрасывает она картину моих будущих деяний, осыпая меня похвалами за то, что я соблаговолю их свершить: «Ненаглядный мой будет умницей, пай-мальчиком, он даст своей маме пустить себе капли в нос», — и я попадаюсь на удочку этих разнеживающих пророчеств.

Был еще патриарх: он так походил на бога-отца, что его нередко принимали за Всевышнего. Както раз он вошел в церковь через ризницу — в эту минуту кюре грозил нерадивым карами небесными. И вдруг прихожане заметили у кафедры высокого бородатого старца — он смотрел на них; верующие пустились наутек. Иногда дед утверждал, что они пали перед ним ниц. Он вошел во вкус таких пришествий. В сентябре 1914 года он явил себя народу в кинотеатре Аркашона. У нас с матерью были места на балконе — вдруг раздался голос деда: он требовал, чтобы дали свет. Вокруг него какие-то господа, подобно сонму ангелов, возглашали: «Победа! Победа!» Бог поднялся на сцену и прочел коммюнике о победе на Марне.

Когда дед был еще чернобородым, он разыгрывал из себя Иегову, и я подозреваю, что он виновен в смерти Эмиля — косвенно, конечно. Этот гневный библейский бог алкал крови своих сыновей. Но я появился на свет к концу его долгой жизни. Борода его стала седой, пожелтела от табака, роль отца ему приелась. Впрочем, будь я его сыном, он, пожалуй, не удержался бы и поработил меня — просто по привычке. На мое счастье, я принадлежал мертвецу. Мертвец бросил семя, которое принесло обычный плод — ребенка. Я был ничейной землей — дед мой пользовался мной, не имея на меня прав владения. Он звал меня «светом своих очей», ибо ему хотелось сойти в могилу в образе просветленного старца. Он решил видеть во мне особую милость провидения, дар свыше, которого в любую минуту можно лишиться. Какие же он мог предъявлять ко мне требования? Самый факт моего существования переполнял его восторгом. Дед вошел в роль бога-любви, наделенного бородой бога-отца и сердцем бога-сына. Он возлагал руки мне на голову, я чувствовал теменем тепло его ладоней, дребезжащим от умиления голосом он называл меня своим дитяткой, и его холодные глаза увлажнялись слезами. Знакомые негодовали: «Этот щенок свел его с

ума!» Дед меня обожал — это видели все. Любил ли он меня? В страсти, столь рассчитанной на публику, трудно отличить, где искренность и где притворство. Мне что-то не помнится, чтобы дед проявлял особенно пылкие чувства к другим своим внукам. Правда, он их редко видел и они в нем не нуждались, а я целиком зависел от него — он обожал во мне собственное великодушие.

По совести сказать, старик несколько пересаливал по части возвышенного. Он был сыном XIX века и, как многие, как сам Виктор Гюго, мнил себя Виктором Гюго. На мой взгляд, этот красивый длиннобородый старик, всегда пребывавший в ожидании очередного театрального эффекта, точно алкоголик в ожидании очередной выпивки, пал жертвой двух новейших открытий: фотоискусства и «искусства быть дедушкой»[1]. На его счастье и беду, он был фотогеничен; наш дом был наводнен его изображениями. Моментальных снимков в ту пору еще не делали, и поэтому дед пристрастился к позам и живым картинам. Под любым предлогом он вдруг останавливался, эффектно замирал, каменел; он обожал эти краткие мгновения вечности, когда он превращался в

[1] Примечания: 1

«Искусство быть дедушкой» — название сборника стихотворений В. Гюго. (*Здесь и далее примечания переводчиков.*)

памятник самому себе. Из-за его пристрастия к живым картинам он и сохранился у меня в памяти только как застывшая проекция волшебного фонаря. Опушка леса, я сижу на поваленном стволе, мне пять лет; на Шарле Швейцере панама, кремовый в черную полоску костюм из фланели, белый пикейный жилет, перерезанный цепочкой от часов, на шнурке свисает пенсне; дед склонился ко мне, воздел палец с золотым перстнем и вещает. Вокруг темно, сыро, и только его борода лучится: дед носит свой нимб под подбородком. Не знаю, о чем он говорит. Я так рьяно старался слушать, что не слышал ни слова. Полагаю, что этот старый республиканец времен Империи наставлял меня в моих обязанностях гражданина и излагал буржуазную историю: жили-были в давние времена короли и императоры, это были гадкие люди, их прогнали, все идет к лучшему в этом лучшем из миров.

Вечерами, встречая деда на дороге, мы тотчас узнавали его в толпе пассажиров, высыпавших из фуникулера, по его исполинскому росту и осанке танцмейстера. Заметив нас еще издали, он мгновенно, повинуясь указаниям невидимого фотографа. «становился в позицию»: борода по ветру, плечи расправлены, пятки вместе, носки

врозь, грудь колесом, объятия широко раскрыты. По этому знаку я замирал, чуть наклонившись вперед, — бегун на старте, птичка, которая вот-вот вылетит из аппарата. Несколько мгновений мы пребывали в такой позе — прелестная группа саксонского фарфора — потом я бросался вперед — мальчик с цветами, фруктами и счастьем деда, — притворно задыхаясь, утыкался носом в его колени, а он, подбросив меня на вытянутых руках, прижимал к сердцу, шепча: «Сокровище мое!» Такова была вторая фигура танца, пользовавшаяся громадным успехом у прохожих. Мы вообще разыгрывали нескончаемое представление из сотни разнообразных скетчей: тут были и флирт, и минутные размолвки, и добродушные поддразнивания, и ласковая воркотня, и любовная досада, и нежное шушуканье, и страсть. Мы изобретали препоны на пути нашей любви, чтобы насладиться их преодолением. На меня временами находило упрямство, но даже в моих капризах сквозила редкостная чувствительность: он, как подобает деду, грешил благородным и простодушным тщеславием, слепотой и предосудительным потворством по рецепту Гюго. Посади меня мать и бабушка на хлеб и воду, дед таскал бы мне сласти, но запуганным женщинам это

и в голову не приходило. Впрочем, я был пай-мальчик; моя роль мне так нравилась, что я и не собирался из нее выходить. В самом деле, поспешное исчезновение отца наградило меня весьма ослабленным «эдиповым комплексом»: никаких «сверх-я» и вдобавок ни малейшей агрессивности. Мать всецело принадлежала мне, никто не оспаривал у меня безмятежного обладания ею; я не знал, что такое насилие и ненависть, был избавлен от горького опыта ревности. Действительность, на острые углы которой мне ни разу не пришлось наткнуться, вначале предстала передо мной улыбчивой бесплотностью. Против кого или чего мне было бунтовать? Ничья прихоть ни разу не пыталась диктовать мне правила поведения.

Я любезно позволяю, чтобы меня обували и впускали мне капли в нос, причесывали и умывали, одевали и раздевали, холили и лелеяли. Моя самая любимая забава — разыгрывать пай-мальчика. Я не плачу, почти не смеюсь, не шумлю; когда мне было четыре года, меня застигли за попыткой посолить варенье — из любви к науке, полагаю, а не по злому умыслу. Так или иначе, никаких других проказ моя память не сохранила. По воскресеньям наши дамы иногда ходят к мессе

послушать хорошую музыку, знаменитого органиста. Ни та, ни другая обрядов не соблюдают, но истовость верующих располагает их к музыкальному экстазу: пока звучит токката, они веруют в бога. Для меня нет ничего слаще этих минут духовного воспарения. Окружающие клюют носом — самое время показать, на что я способен: «упершись коленами в скамеечку, я обращаюсь в статую, боже сохрани шевельнуть хотя бы мизинцем; я смотрю прямо перед собой, не мигая, пока по щекам не заструятся слезы. Конечно, я веду титаническую борьбу с мурашками в ногах, но я уверен в победе и настолько преисполнен сознания своей силы, что бесстрашно возбуждаю в себе самые греховные искушения, дабы вкусить сладость торжества над ними. А что, если я вдруг вскочу и заору: „Таррарабум!“ А что, если я вскарабкаюсь на колонну и сделаю пипи в кропильницу? Эти чудовищные видения придают особую цену похвалам матери после службы. Впрочем, я лгу самому себе — притворяюсь, будто мне грозит опасность, чтобы приумножить свою славу. На самом деле никакие соблазны не способны вскружить мне голову: слишком я боюсь скандала. Уж если я намерен повергать окружающих в изумление, то только своими

добродетелями. Легкость, с какой я одерживаю эти победы, доказывает, что у меня хорошие задатки. Стоит мне внять своему внутреннему голосу, меня осыпают похвалами. Дурные желания и мысли, если уж они у меня появляются, приходят извне; едва закравшись в мою душу, они хиреют и чахнут — я неблагодарная почва для греха. Добродетельный из любви к рисовке, я при этом не лезу вон из кожи, не насилую себя — я творю. Я наслаждаюсь царственной свободой актера, который, держа публику в напряжении, шлифует свою роль. Меня обожают — стало быть, я достоин обожания. Вполне понятно — ведь мир устроен превосходно. Мне говорят, что я хорош собой, и я этому верю. С некоторых пор у меня на правом глазу бельмо, впоследствии я буду косить и окривею, но пока это еще незаметно. Меня то и дело фотографируют, и мать ретуширует снимки цветными карандашами. Одна из фотографий сохранилась: я на ней белокур, розов, кудряв, щеки пухлые, во взгляде ласковая почтительность к установленному миропорядку, в надутых губках затаенная наглость — я себе цену знаю.

У меня хорошие задатки, но этого мало: мне положено быть пророком, ведь истина глаголет устами младенцев. Они еще не оторвались от

природы, они сродни ветру и морю — имеющий уши может почерпнуть в их лепете пространные и расплывчатые откровения. Моему деду довелось плыть по Женевскому озеру в обществе Анри Бергсона. «Я потерял голову от восторга, рассказывал дед. — Я не мог наглядеться на сверкающие гребни, на зеркальный блеск воды. А Бергсон просидел все время на чемодане, уставившись взглядом в пол». На основании этого путевого наблюдения Шарль делал вывод, что поэтическое созерцание превыше философии. И он созерцал меня: в саду, полулежа в шезлонге с кружкой пива под рукой, он глядел, как я бегаю и играю, выискивал мудрость в моей бессвязной болтовне и находил ее. Впоследствии я посмеивался над этой манией — теперь я в этом раскаиваюсь: то было предвестие смерти. С помощью экстаза Шарль пытался побороть страх. Он восхищался во мне восхитительным созданием земли, стараясь убедить себя, что все прекрасно — даже наш жалкий конец. Повсюду — на вершинах гор, в волнах, среди звезд, в истоках моей юной жизни — он стремился приобщиться к природе, в лоно которой ему предстояло вскоре вернуться, приобщиться, чтобы охватить ее целиком и принять всю без изъятия, вплоть до могильной

ямы, уже вырытой для него. Не истина, а *его собственная* смерть глаголела ему моими устами. Немудрено, что пресное счастье моих младенческих лет имело порой загробный привкус: своей свободой я был обязан одной смерти — весьма своевременной, своим положением — другой, давно ожидаемой. Впрочем, как-известно, пифии всегда вещают от имени загробного мира, дети — всегда зеркало смерти.

Помимо всего прочего, деду очень нравилось злить своих сыновей. Всю жизнь они находились под пятой грозного отца; они входят к нему на цыпочках и застают его на коленях перед мальчишкой — как тут не полезть на стенку! В борьбе отцов и детей младенцы и старики нередко действуют заодно: одни прорицают, другие толкуют прорицания. Природа глаголет, опыт комментирует — среднее поколение может заткнуться. Если у вас нет ребенка, заведите пуделя. В прошлом году на собачьем кладбище, читая взволнованный панегирик, который эстафетой передается от одного надгробия к другому, я вспомнил изречения деда: собаки умеют любить, они отзывчивей, преданней людей; они наделены тактом, безупречным чутьем, которое помогает им распознать добро, отличить хорошее

от дурного. «Полониус! — взывала неутешная хозяйка. — Ты лучше меня: ты бы не пережил моей смерти — я живу». Со мной был мой друг, американец. Он в бешенстве пнул ногой какую-то гипсовую собачонку и отбил ей ухо. Я его понимаю: тот, кто *чрезмерно* любит детей и животных, любит их в ущерб человечеству.

Итак, я многообещающий пудель. Я прорицаю. Я болтаю по-детски — мои слова запоминают, повторяют мне, по их образцу я изготовляю новые. Я болтаю и по-взрослому, я наловчился с наивным видом высказываться «не по годам разумно». Высказывания эти — истинные поэмы; рецепт их прост: наобум, на авось, наудачу заимствуй у взрослых целые фразы, расставь их как бог на душу положит и повторяй, не вникая в смысл. Словом, я изрекаю пророчества, и каждый толкует их по своему разумению. В глубинах моего сердца рождается само добро, в тайниках моего юного сознания — сама истина. Я восхищаюсь собой, положившись на взрослых: иногда до меня даже не доходит, в чем прелесть моих слов и жестов, но взрослым она бросается в глаза. Ничего не попишешь! Я готов самоотверженно доставлять им изысканное наслаждение, недоступное мне самому. Мое кривлянье рядится в

тогу великодушия: горемыки-взрослые страдали, не имея детей; растроганный, в порыве альтруизма, я вышел из небытия, обернувшись дитятей, дабы им казалось, будто у них есть сын. Мать и бабушка частенько подбивают меня разыгрывать одну и ту же сцену — акт неизреченного милосердия, вызвавшего меня к жизни. Они потворствуют причудам Шарля Швейцера, его любви к театральным эффектам, они устраивают ему сюрпризы. Меня прячут позади какого-нибудь кресла, я стараюсь не дышать, женщины уходят из комнаты или делают вид, будто забыли обо мне. Входит дед, усталый и угрюмый, каким он и был бы, не живи я на свете, и вдруг я выхожу из своего тайника, являя деду милость своего рождения. Он замечает меня, входит в роль, с просветленным челом воздевает руки к небу: я существую, больше ему нечего желать. Иными словами, я одариваю собой, одариваю всегда и повсюду, одариваю всех. Стоит мне приоткрыть дверь — и мне, как деду, начинает казаться, что я являю себя народу. Построив дом из кубиков, слепив пирожок из песка, я кричу во все горло: на мой зов всегда кто-нибудь прибежит и ахнет. Одним счастливцем больше — и все благодаря мне! Еда, сон, переодевание, смотря по погоде, —

таковы основные развлечения и обязанности, предусмотренные строжайшим ритуалом моей жизни. Ем я на людях, словно король; если я ем с аппетитом, меня осыпают поздравлениями. Даже бабушка восклицает: «Вот умница, проголодался!»

Я неустанно творю себя: я даритель и я же дарение. Останься мой отец в живых, я бы познал свои права и обязанности. Но он умер, и я о них ведать не ведаю: у меня нет прав, потому что я взыскан любовью, у меня нет обязанностей, потому что я дарую из любви. Я призван нравиться, и только: все напоказ. Наша семья — какой разгул великодушия: дед дает мне средства к жизни, я даю ему счастье, мать жертвует собой ради всех. Теперь, по зрелом размышлении, только одно ее самопожертвование и кажется мне непритворным, но в ту пору мы были склонны обходить его молчанием. Так или иначе, жизнь наша — вереница церемоний, и все наше время уходит на воздаяние взаимных почестей. Я чту взрослых при условии, что меня боготворят; я правдив, откровенен, ласков, как девочка. Я благонамерен, доверяю людям; все они добры, ибо всем довольны. Общество рисуется мне строгой иерархией заслуг и полномочий. Тот, кто нахо-

дится на верхних ступенях лестницы, отдает все, что имеет, тем, кто находится внизу. Лично я отнюдь не претендую на самую верхнюю ступень: мне известно, что она отведена суровым, благомыслящим людям, которые блюдут порядок. Я устроился на скромной боковой жердочке неподалеку от них и излучаю сияние во всех направлениях. Словом, я стараюсь держаться подальше от мирской власти, ни наверху, ни внизу — в стороне. Внук служителя культа, я с детства проявляю наследственные склонности: во мне елейность князей церкви, меня влекут утехи рясоносцев. С меньшой братией я обращаюсь как с равными; это ложь во спасение, я лгу, чтобы их осчастливить, а им надлежит попадаться на удочку, но не до конца. К няне, к почтальону, к комнатной собачонке я обращаюсь терпеливым и сдержанным тоном. В нашем упорядоченном мире есть бедные. Бывают также всякие диковинки, сиамские близнецы, железнодорожные катастрофы. Но в этих несообразностях никто не повинен. Честные бедняки не подозревают, что их жизненное назначение — давать пищу нашей щедрости. Это стыдливые бедняки — они жмутся к стенкам. Я бросаюсь к ним, сую им в руку мелочь и, главное, одариваю их пленительной

улыбкой улыбкой равенства. Вид у них дурацкий, и мне противно прикасаться к ним, но я принуждаю себя это искус. К тому же необходимо, чтобы они меня любили, любовь ко мне скрасит им жизнь. Я знаю, что им не хватает насущного, и мне нравится быть для них предметом роскоши. Впрочем, как бы они ни бедствовали, им не изведать тех страданий, что выпали на долю моего деда: ребенком он вставал до рассвета и одевался в потемках, зимою, чтобы умыться, приходилось разбивать лед в кувшине с водой. К счастью, времена изменились: дед верит в прогресс, я тоже. Прогресс — это длинный крутой подъем, который ведет ко мне.

То было райское житье. По утрам я просыпался в радостном изумлении, ликуя, что мне так неслыханно повезло и я родился в самой дружной на свете семье, в самой лучшей под солнцем стране. Недовольные шокировали меня: на что им было роптать? Смутьяны, да и только. В частности, родная бабушка внушала мне живейшую тревогу: я с грустью должен был отметить, что она недостаточно восторгается мной. Луиза и в самом деле видела меня насквозь. Она открыто уличала меня в лицедействе, за которое не осмеливалась укорять мужа, она называла меня

клоуном, шутом, кривлякой, требовала, чтобы я прекратил свое ломанье. Меня это возмущало, в особенности потому, что я угадывал тут насмешку и над дедом. Устами бабушки говорил дух всеотрицания. Я спорил, она требовала, чтобы я извинился; уверенный, что найду поддержку, я отказывался. Дед пользовался случаем проявить слабость — он принимал мою сторону против жены, она, негодуя, уходила к себе в спальню и запиралась на ключ. Испуганная мать, боясь бабушкиной злопамятности, шепотом робко журила деда, а он, пожав плечами, удалялся в свой кабинет; тогда мать начинала уговаривать меня. чтобы я попросил прощенья у бабушки. Я упивался своим могуществом: чем я не Михаил-архангел, сокрушивший лукавого? Чтобы исчерпать инцидент, я небрежно извинялся перед бабушкой. Впрочем, если не считать подобных размолвок, я, разумеется, обожал Луизу — ведь это была *моя* бабушка. Меня научили называть ее Мами, а главу семьи — его эльзасским именем Карл. Карл и Мами — это звучало почище, чем Ромео и Джульетта или Филимон и Бавкида. Мать не без умысла по сто раз на дню повторяла мне: «Карлимами нас ждут», «Карлимами будут рады», «Карлимами…», подчеркивая интимным

союзом этих четырех слогов полное взаимное согласие действующих лиц. Я попадался на эту удочку лишь отчасти, но притворялся — прежде всего перед самим собой, — будто попадаюсь до конца. Отблеск слова ложился на самый предмет: с помощью Карлимами я мог наслаждаться безукоризненной спаянностью семьи и оделять Луизу малой толикой добродетелей Шарля. Мою бабку, существо ненадежное, склонное к греху и поминутно готовое оступиться, поддерживала десница ангелов, могущество слова.

Есть в мире настоящие злодеи — пруссаки, они отняли у нас Эльзас-Лотарингию и все наши часы, кроме тех, больших, на подставке из черного мрамора, что стоят на камине у деда и подарены ему как раз группой его учеников-немцев: интересно, где они их украли? Мне покупают книжки Ганси и показывают картинки; я не ощущаю ни малейшей неприязни к этим розовым марципановым толстякам, которые как две капли воды похожи на моих эльзасских дядей. Дед, выбравший в 1871 году французское гражданство, время от времени ездит в Гунсбах и Пфаффенхофен навестить родню, которая осталась там. Берут и меня. В поезде, если немец-контролер просит нас предъявить билеты, в кафе, если официант не торопится

нас обслужить, Шарль Швейцер багровеет от прилива патриотического гнева. Обе женщины хватают его за руки: «Шарль! Образумься! Неужто ты хочешь, чтобы нас выслали?» Меня подталкивают к его коленям, я гляжу на него с мольбой, он смягчается. «Ну ладно, ради малыша», — вздыхает он, гладя меня по голове сухими, шершавыми пальцами. Эти сцены настраивают меня не против оккупантов, а против деда. Кстати, в Гунсбахе Шарль при каждом удобном случае накидывается на свою невестку: за неделю он несколько раз швыряет на стол салфетку и, хлопнув дверью, выходит из столовой, а невестка вовсе не немка. После обеда мы с мольбами и рыданиями припадаем к стопам Шарля — дед внемлет с каменным лицом. Как тут не согласиться с бабушкой. «Эльзас вреден Шарлю! Незачем так часто туда ездить». Я и сам не в восторге от эльзасцев, которые не проявляют ко мне ни малейшего почтения, и меня не слишком печалит, что их у нас отняли. Выясняется, например, что я слишком часто бегаю в лавку пфаффенхофенского бакалейщика господина Блюменфельда и беспокою его по пустякам. Моя тетка Каролина высказала моей матери «свое мнение» на этот счет, мать передала его мне. На сей раз мы с Луизой соли-

дарны: она терпеть не может мужнину родню. В Страсбурге из номера гостиницы, где мы остановились, я слышу лунную дробь оркестра, лечу к окну — армия! С восторгом глядя, как под звуки этой ребячливой музыки марширует Пруссия, я хлопаю в ладоши. Дед не шелохнулся в кресле — он брюзжит. Мать шепчет мне на ухо, чтобы я отошел от окна. Я подчиняюсь, слегка надув губы. Черт побери, конечно, я ненавижу немцев, но без должного убеждения. Впрочем, и Шарль может себе позволить только самую невинную дозу шовинизма. В 1911 году, покинув Медон, мы обосновались в Париже на улице Ле Гофф, в доме номер 1. После того как он вышел в отставку, деду, чтобы содержать семью, пришлось основать Институт новых языков, где обучают французскому заезжих иностранцев. Обучают «прямым методом». Большинство учеников — немцы. Они хорошо платят. Дед, не считая, прячет луидоры в карман пиджака; по ночам бабушка, страдающая бессонницей, крадется в прихожую, чтобы взыскать дань «шито-крыто», как она сама говорит дочери. Одним словом, враг дает нам хлеб насущный. Франко-германская война возвратила бы нам Эльзас, но положила бы конец Институту — Шарль стоит за поддержание мира. К тому же

есть на свете и хорошие немцы, те, что бывают у нас в гостях: краснолицая усатая романистка — Луиза с ревнивым смешком зовет ее Карлова Дульцинея, лысый доктор, который, притиснув Анн-Мари к дверям, пытается ее поцеловать; в ответ на ее робкую жалобу дед мечет громы и молнии: «Вам только бы ссорить меня со всеми!» Пожав плечами, он решает: «Тебе померещилось, дочь моя!», и Анн-Мари еще чувствует себя виноватой. Все эти гости понимают, что им надлежит восхищаться моими достоинствами, и послушно тискают меня, следовательно, несмотря на их немецкое происхождение, им не чуждо смутное представление о добре. На ежегодных юбилейных торжествах в честь основания Института — больше сотни приглашенных, легкое вино, мать и мадемуазель Муте в четыре руки играют Баха. Я в голубом муслиновом платьице, с диадемой из звезд и крыльями за плечами обношу гостей корзиной с мандаринами. «Ну, *сущий* ангел!» — восклицают они. Выходит, не такие уж они плохие люди. Само собой, мы не отказались от планов мщения за Эльзас-великомученик: в семейном кругу, понизив голос, мы, так же как наши родственники из Гунсбаха и Пфаффснхофена, изничтожаем бошей насмешкой; в сотый

раз мы потешаемся над ученицей, которая во французском сочинении написала: «На могиле Вертера Шарлотту прохватило горе», или над молодым учителем, который за обедом долго и недоверчиво разглядывал ломтик дыни, а потом съел его целиком — с семечками и коркой. Эти промахи настраивают меня на снисходительный лад; немцы — низшие существа, но, на их счастье, они живут по соседству с нами, мы их просветим.

Поцелуй безусого, говорили в те годы, как пища без соли, или, добавлю я, как добродетель без греха, как моя жизнь с 1905 по 1914 год. Если человеческая личность определяется в борениях с самим собой, я был неопределенность во плоти и крови. Если любовь и ненависть суть две стороны одной медали, я не любил никого и ничего. С меня взятки гладки: тому, кто хочет нравиться, не до ненависти. И не до любви.

Выходит, я Нарцисс? Нет, даже и не Нарцисс. Всецело поглощенный тем, чтобы пленять окружающих, я забываю о себе. По правде говоря, вовсе не так интересно лепить пирожки из песка, рисовать каракули и удовлетворять естественные нужды — мои деяния приобретают цену в моих глазах не раньше, чем хоть один из

взрослых придет от них в восторг. К счастью, в рукоплесканьях недостатка нет. Слушают ли они мою болтовню или фуги Баха — на губах у взрослых та же многозначительная улыбка гурманов и соучастников. А стало быть, по сути своей я — культурная ценность. Культура пропитала меня насквозь, и я посредством излучения возвращаю ее своей семье, как пруд возвращает по вечерам солнечное тепло.

Я начал свою жизнь, как, по всей вероятности, и кончу ее — среди книг. Кабинет деда был заставлен книгами; пыль с них разрешалось стирать только раз в году — в октябре, накануне возвращения в город. Еще не научившись читать, я благоговел перед этими священными камнями: они расположились на полках стоймя и полулежа, кое-где точно сплошная кирпичная кладка, кое-где в благородном отдалении друг от друга, словно ряды менгиров. Я чувствовал, что от них зависит процветание нашей семьи. Они походили одна на другую как две капли воды, и я резвился в этом крохотном святилище среди приземистых памятников древности, которые были свидетелями моего рождения, должны были стать свидетелями моей смерти и незыблемость которых сулила мне в будущем жизнь

столь же безоблачную, как и в прошлом. Я украдкой дотрагивался до них, чтобы причаститься их пылью, но не представлял себе, на что они, собственно, нужны, и каждый день приглядывался к ритуалу, смысл которого от меня ускользал: дед, в повседневном обиходе до того неумелый, что моей матери самой приходилось застегивать ему перчатки, манипулировал этой духовной утварью с ловкостью служителя алтаря. Сотни раз я наблюдал, как он с отсутствующим видом поднимается, выходит из-за стола, в мгновение ока оказывается у противоположной стены, решительно, не раздумывая, снимает с полки какой-нибудь том, на ходу перелистывает его привычным движением большого и указательного пальцев, вновь садится в кресло и разом открывает книгу на нужной странице, чуть хрустнув кожаным корешком, как новым ботинком. Иногда я подходил ближе, чтобы разглядеть эти ларцы, которые распахивались, точно створки раковины, и обнажали передо мной свои внутренности: блеклые заплесневелые листки, слегка покоробленные и покрытые черными прожилками, они впитывали чернила и пахли грибами. В комнате бабушки книги не стояли, а лежали на столе; Луиза брала их в библиотеке — не больше

двух зараз. Эти безделушки напоминали мне новогодние лакомства, потому что их тонкие, глянцевитые страницы казались вырезанными из глазированной бумаги. Кокетливые, белые, почти новые, они вызывали к жизни таинства более легковесные. Каждую пятницу бабушка, надев пальто, уходила со словами: «Пойду верну ИХ». Возвратившись, она снимала черную шляпу с вуалеткой и извлекала ИХ из своей муфты, а я недоумевал: «Опять те же?» Бабушка тщательно обертывала книги, потом, выбрав одну, усаживалась у окна в глубокое мягкое кресло, водружала на нос очки и со счастливым, усталым вздохом прикрывала глаза, улыбаясь той тонкой сладострастной улыбкой, которую впоследствии я обнаружил на губах Джоконды; Анн-Мари умолкала, делала и мне знак молчать, а я представлял себе богослужение, смерть, сон и проникался священным безмолвием. Время от времени Луиза, издав короткий смешок, подзывала дочь, проводила пальцем по какой-то строке, и обе женщины обменивались понимающим взглядом. Но мне все-таки не нравились слишком уж изящные бабушкины книжицы: это были самозванки, да и дед не скрывал, что они божества второстепенные, предмет специфически женского культа.

По воскресеньям от нечего делать он заходил в комнату жены и, не зная, что сказать, останавливался возле ее кресла. Все взгляды устремлялись к нему, а он, побарабанив пальцем по стеклу и так ничего и не придумав, поворачивался к Луизе и отнимал у нее книгу, которую она читала. «Шарль! — в ярости кричала она. — Я потом не найду, на чем я остановилась!» Но дед, подняв брови, уже погружался в чтение, затем, постучав вдруг по книжице согнутым пальцем, объявлял: «Ничего не понимаю». — «Да как же ты можешь понять, когда читаешь с середины?» — возражала бабушка. Дело кончалось тем, что дед швырял роман на стол и удалялся, пожав плечами.

Спорить с дедом не приходилось: ведь он был того же цеха. Я это знал — он показал мне на одной из полок толстые тома, обтянутые коричневым коленкором. «Вот эти книги, малыш, написал дедушка». Как тут было не возгордиться! Я внук умельца, искусного в изготовлении священных предметов, — ремесле не менее почтенном, чем ремесло органного мастера или церковного портного. Я видел деда за работой: «Deutsches Lesebuch» переиздавался каждый год. На каникулах вся семья с нетерпением ждала корректуры; Шарль не выносил праздности,

чтобы убить время, он не давал никому житья. Наконец почтальон приносил пухлые, мягкие бандероли, веревки разрезали ножницами, дед разворачивал гранки, расстилал их на столе в столовой и начинал черкать красным карандашом: при каждой опечатке он сквозь зубы бормотал проклятья, но уже не поднимал крика, разве когда служанка приходила накрывать на стол. Все члены семьи были довольны. Стоя на стуле, я в упоении созерцал черные строчки, испещренные кровавыми пометами. Шарль Швейцер разъяснил мне, что у него есть смертельный враг — его издатель. Дед никогда не был силен в арифметике: расточительный из беспечности, щедрый из упрямства, он лишь к концу жизни впал в старческую болезнь — скупость, результат импотенции и страха перед смертью. Но в ту пору она проявлялась еще только в странной подозрительности: когда деду приходил почтовым переводом авторский гонорар, он, воздев руки к небу, кричал, что его режут без ножа, или, войдя в комнату к бабушке, мрачно заявлял: «Мой издатель обдирает меня как липку». Так моему изумленному взору открылась эксплуатация человека человеком. Если бы не эта гнусность, по счастью ограниченного свойства, мир был бы устроен превосходно:

хозяева — каждый по своим возможностям — воздавали труженикам — каждому по его заслугам. И ведь надо же было, чтоб вампиры-издатели оскверняли справедливость, высасывая кровь из моего бедного деда. Но мое уважение к этому праведнику, который не получал награды за свою самоотверженность, возросло: с младых ногтей я был подготовлен к тому, чтобы видеть в педагогической деятельности священнодействие, а в литературной — подвижничество.

Я еще не умел читать, но был уже настолько заражен снобизмом, что пожелал иметь *собственные* книги. Дед отправился к своему мошеннику-издателю и раздобыл там «Сказки» поэта Мориса Бушора — фольклорные сюжеты, обработанные для детей человеком, который, по словам деда, глядел на мир детскими глазами. Я пожелал немедля и по всей форме вступить во владение книгами. Взяв два маленьких томика, я их обнюхал, ощупал, небрежно, с предусмотренным по этикету хрустом открыл «на нужной странице». Тщетно: у меня не было чувства, что книги мои. Не увенчалась успехом и попытка поиграть с ними: баюкать, целовать, шлепать, как кукол. Еле удерживаясь, чтобы не разреветься, я в конце концов положил их на колени матери. Она подняла

глаза от шитья: «Что тебе почитать, мой родной? Про фей?» Я недоверчиво спросил: «Про фей? А разве они *там*?» Сказка про фей была мне давным-давно известна: мать часто рассказывала ее, умывая меня по утрам и поминутно отвлекаясь, чтобы растереть меня одеколоном или поднять кусок мыла, выскользнувший у нее из рук под умывальник, а я рассеянно слушал хорошо знакомый рассказ. Я видел при этом только Анн-Мари, юную подругу моих утренних пробуждений, слышал только ее голос, робкий голос служанки. Мне нравилось, как она не договаривает фразы, запинается на каждом слове, неожиданно обретает уверенность, опять теряет ее, расплескивая в мелодичном журчании, и вновь приободряется после паузы. А сама сказка была как бы фоном, она скрепляла этот монолог. Пока Анн-Мари рассказывала, мы были с ней наедине, скрытые от глаз людей, богов и священнослужителей, две лесные лани, и с нами другие лани — феи. Но я не мог поверить, что кто-то сочинил целую книгу, чтобы включить туда частицу нашей мирской жизни, от которой пахло мылом и одеколоном.

Анн-Мари усадила меня перед собой на детский стульчик, сама склонилась, опустила веки, задремала. И вдруг эта маска заговорила гип-

совым голосом. Я растерялся: кто это говорит, о чем и кому? Моя мать отсутствовала: ни улыбки, ни понимающего взгляда, я перестал для нее существовать. Вдобавок я не узнавал ее речи. Откуда взялась в ней эта уверенность? И тут меня осенило: да ведь это говорит книга. Из нее выходили фразы, наводившие на меня страх; это были форменные сороконожки, они мельтешили слогами и буквами, растягивали дифтонги, звенели удвоенными согласными; напевные, звучные, прерываемые паузами и вздохами, полные незнакомых слов, они упивались сами собой и собственными извивами, нимало не заботясь обо мне; иногда они обрывались, прежде чем я успевал что-нибудь понять, иногда мне уже все было ясно, а они продолжали величаво струиться к своему концу, не жертвуя ради меня ни единой запятой.

Сомнений не было, эти слова предназначались не мне. Да и сама сказка принарядилась — дровосек, его жена, их дочери, фея, все эти простые, похожие на нас существа взгромоздились на пьедестал: их лохмотья описывались высокопарным слогом, а слова налагали на все свой отпечаток, преображая поступки в обряды и события в церемонии. И вдруг пошли вопросы: издатель деда,

набивший руку на учебных пособиях, никогда не упускал случая дать пищу юным умам своих читателей. «Что бы ты сделал на месте дровосека? Какая из двух сестер тебе больше нравится? Почему? Поделом ли наказана Бабетта?» Казалось, эти вопросы задают ребенку. Но мне ли — я не был уверен и побаивался отвечать. Наконец я все же собрался с духом, но мой робкий голос замер, и мне померещилось, будто я уже не я и Анн-Мари больше не Анн-Мари, а какая-то слепая ясновидящая: мне чудилось, будто я стал сыном всех матерей, а она матерью всех сыновей. Когда она кончила читать, я проворно выхватил у нее книги и унес их под мышкой, не сказав «спасибо».

Мало-помалу я полюбил эти минуты: что-то щелкало, отключая меня от меня самого — Морис Бушор склонялся к детям с той универсальной предупредительностью, какую выказывают покупательницам приказчики в больших магазинах, мне это льстило. Сказкам-импровизациям я стал предпочитать стандартную продукцию: я вошел во вкус строгой последовательности слов — при каждом новом чтении они повторялись, неизменные, в неизменном порядке — я их ждал. В сказках Анн-Мари герои жили наудачу, как она сама, теперь они обрели судьбу. Я присутствовал

на литургии: я был свидетелем того, как имена и события возвращались на круги своя.

Я проникся завистью к матери и решил отбить у нее роль. Завладев книжкой под названием «Злоключения китайца в Китае», я уволок ее в кладовую; там, взгромоздившись на раскладушку, я стал представлять, будто читаю: я водил глазами по черным строчкам, не пропуская ни одной, и рассказывал себе вслух какую-то сказку, старательно выговаривая все слоги. Меня застигли врасплох — а может, я подстроил так, чтобы меня застигли, — начались охи, и было решено, что пора меня учить грамоте. Я был прилежен, как оглашенный язычник; в пылу усердия я сам себе давал частные уроки: взобравшись на раскладушку с романом Гектора Мало «Без семьи», который я знал наизусть, я прочел его от доски до доски, наполовину рассказывая, наполовину разбирая по складам; когда я перевернул последнюю страницу, я умел читать.

Я ошалел от счастья: теперь они мои — все эти голоса, засушенные в маленьких гербариях, голоса, которые дед оживлял одним своим взглядом, которые он слышал, а я — нет! Теперь и я их услышу, и я приобщусь к языку священнодействий, буду знать все! Мне позволили рыться

на книжных полках, и я устремился на приступ человеческой мудрости! Это решило мою судьбу. Впоследствии мне сотни раз приходилось слышать, как антисемиты попрекают евреев за то, что им чужды уроки природы и ее немой язык; я отвечал на это: «В таком случае я более еврей, чем сами евреи». Напрасно я стал бы искать в своем прошлом пестрые воспоминания, радостную бесшабашность деревенского детства. Я не ковырялся в земле, не разорял гнезд, не собирал растений, не стрелял из рогатки в птиц. Книги были для меня птицами и гнездами, домашними животными, конюшней и полями. Книги — это был мир, отраженный в зеркале; они обладали его бесконечной плотностью, многообразием и непредугаданностью. Я совершал отчаянные вылазки: карабкался на стулья и столы, рискуя вызвать обвалы и погибнуть под ними. Книги с верхней полки долгое время оставались вне пределов моей досягаемости; другие — не успел я их открыть — у меня отбирали; были и такие, что сами прятались от меня: я их начал читать, поставил, как мне казалось, на место, а потом целую неделю не мог найти. У меня были жуткие встречи: открываю альбом, вижу цветную вклейку — передо мной копошатся гнусные на-

секомые. Растянувшись на ковре, я пускался в бесплодные путешествия по Фонтенелю, Аристофану, Рабле; фразы оказывали мне физическое сопротивление: их приходилось рассматривать со всех сторон, кружить вокруг да около, делать вид, будто уходишь, и внезапно возвращаться, чтобы захватить их врасплох, — чаще всего они так и не выдавали своей тайны. Я был Лаперузом, Магелланом, Васко де Гама, я открыл диковинные племена: «хеатонтиморуменос»[2] в комедии Теренция, переведенной александрийским стихом, «идиосинкразию» в труде по сравнительному литературоведению. «Апокопа», «хиазм», «парангон» и тысячи других загадочных и недоступных готтентотов возникали вдруг где-нибудь в конце страницы, мгновенно внося путаницу в целый абзац. Смысл этих неподатливых и темных слов мне пришлось узнать только лет через десять — пятнадцать, но они и поныне сохранили для меня свою непрозрачность: это перегной моей памяти.

Библиотека состояла главным образом из французских и немецких классиков. Были в ней также учебники грамматики, несколько прославлен-

[2] Примечания: 2

Хеатонтиморуменос — «Самоистязатель» (греч.), комедия римского писателя Теренция.

ных романов. «Избранные рассказы» Мопассана, монографии о художниках: Рубенсе, Ван Дейке, Дюрере, Рембрандте — новогодние подношения деду от его учеников. Скудный мир. Но большой энциклопедический словарь Ларусса заменял мне все; я брал наугад один из томов с предпоследней полки за письменным столом: А — Бу, Бу — До, Меле — Пре или Тро — Ун (эти сочетания слогов превратились для меня в собственные имена, обозначающие определенные области человеческого познания: тут был, например, район Бу — До или район Меле — Пре с их флорой и фауной, с их городами, великими людьми и историческими битвами). Не без труда водрузив на дедов бювар очередной том, я открывал его и пускался на поиски настоящих птиц, охотился на настоящих бабочек, которые сидели на живых цветах. Люди и звери *жили* под этими переплетами, гравюры были их плотью, текст — душой, их неповторимой сущностью; за стенами моего дома бродили только бледные копии, более или менее приближавшиеся к прототипу, но никогда не достигавшие его совершенства: в обезьянах зоологического сада было куда меньше обезьянего, в людях из Люксембургского сада — куда меньше человечьего. Платоник в силу

обстоятельств, я шел от знания к предмету: идея казалась мне материальней самой вещи, потому что первой давалась мне в руки и давалась как сама вещь. Мир впервые открылся мне через книги, разжеванный, классифицированный, разграфленный, осмысленный, но все-таки опасный, и хаотичность моего книжного опыта я путал с прихотливым течением реальных событий. Вот откуда взялся во мне тот идеализм, на борьбу с которым я ухлопал три десятилетия.

В повседневной жизни все было азбучно просто: мы встречались со степенными людьми, они говорили громко и внятно, опираясь в своих безапелляционных суждениях на здравые принципы, на ходячую мудрость, и удовлетворялись прописными истинами, придавая им разве что несколько более изощренную форму, к которой я давно уже привык. Их приговоры с первого слова убеждали меня своей самоочевидной и дешевой неоспоримостью. Мотивируя свои поступки, они прибегали к доводам, настолько скучным, что не приходилось сомневаться в их справедливости. Душевная борьба наших знакомых в их собственном снисходительном изложении не столько смущала меня, сколько наставляла на путь истинный: все это были дутые конфликты,

заранее разрешенные, всегда одни и те же. Если уж взрослые винились в каком-нибудь проступке, бремя его было не тяжким: они погорячились, их ослепил праведный, но, конечно, несколько преувеличенный гнев, к счастью, они вовремя спохватились. Грехи отсутствующих, куда более серьезные, они всегда готовы были извинить: у нас в доме не злословили, у нас с сожалением констатировали недостатки того или иного человека. Я слушал, я понимал, я сочувствовал; эти разговоры меня успокаивали — немудрено, на то они и были рассчитаны: на все есть свое лекарство, по сути дела все неизменно, суета сует на поверхности не должна заслонять от нас мертвящую незыблемость нашей судьбы.

Гости уходили, я оставался один и. удирая с этого пошлого кладбища, находил жизнь, безрассудство в книгах. Стоило открыть любую из них, и я вновь сталкивался с той нечеловеческой. неуемной мыслью, размах и глубины которой превосходили мое разумение, она перескакивала от одной идеи к другой с такой стремительностью, что я, ошеломленный и сбитый с толку, по сто раз на странице оступался и терял нить. На моих глазах происходили события, которые дед наверняка счел бы неправдоподобными, и. одна-

ко, они обладали неоспоримой достоверностью написанного. Персонажи сваливались как снег на голову. они любили друг друга, ссорились, перерезали друг другу глотки; оставшийся в живых чахнул с горя и сходил в могилу вслед за другом или прелестной возлюбленной, которую сам же отправил на тот свет. Что мне было делать? Может, я должен по примеру взрослых порицать, одобрять, оправдывать? Но эти чудаки, казалось, понятия не имеют о наших правилах нравственности, а побуждения их, даже если о таковых упоминалось, оставались для меня загадкой. Брут убивает своего сына, Матео Фальконе — тоже. Стало быть, это принято. Но никто из наших знакомых почему-то к такой мере не прибегал. В Медоне мой дед однажды поссорился с дядей Эмилем, и я слышал, как оба кричали в саду, но дед, по-моему, не выражал намерений убить сына. Интересно, как он относится к детоубийцам? Сам я воздерживался от суждений: лично мне опасность не угрожала, поскольку я был сирота, и эти помпезные кровопролития меня даже забавляли. Однако в рассказе о них я улавливал одобрение, и это меня смущало. Вот, например, Гораций — я с трудом удержался, чтобы не плюнуть на гравюру, где он в шлеме, с обнаженной

шпагой в руке гнался за бедной Камиллой. Карл иногда мурлыкал:

Будь ты сто раз богат родней —
А ближе нет, чем брат с сестрой…

Это меня смущало: значит, выпади мне счастье иметь сестру, она была бы мне ближе, чем Анн-Мари? И чем Карлимами? Выходит, она считалась бы моей возлюбленной. Слово «возлюбленная», пока еще туманное, я часто встречал в трагедиях Корнеля. Возлюбленные целуются и дают друг другу клятву спать в одной постели (странная причуда — а почему не в двух стоящих рядом, как мы с матерью?). Больше я ничего не знал, но под лучезарной оболочкой понятия мне чудились какие-то дремучие дебри. Так или иначе, будь у меня сестра, мне не миновать бы кровосмесительных помыслов. У меня была старшая сестра — мать, мне хотелось иметь младшую. И поныне — в 1963 году — из всех родственных уз только родство брата с сестрой трогает меня.

Самым большим моим заблуждением было то, что я неоднократно пытался найти среди женщин эту неродившуюся сестру — мне было в этом отказано, и я же еще платил судебные издержки. Тем не менее сейчас, когда я пишу эти строки, во

мне снова вскипает прежний гнев против убийцы Камиллы, гнев такой пылкий и безудержный, что я думаю, уж не в преступлении ли Горация один из источников моего антимилитаризма: военные убивают своих сестер. Будь моя воля, я бы ему показал, этому солдафону! К стенке его! Дюжину пуль в затылок! Я переворачивал страницу — печатные знаки доказывали мне. что я не прав. Сестроубийцу следовало *оправдать*. Несколько мгновений я задыхался, топая ногой оземь, словно бык при виде красной тряпки. Но тут же спешил умерить свою ярость. Ничего не попишешь — приходилось смиряться, я был слишком молод, как видно, я все понял превратно; необходимость оправдать Горация наверняка была изложена в бесчисленных александрийских стихах, которые я не уразумел или пропустил от нетерпения. Мне нравилась эта неясность, нравилось, что происходящее то и дело от меня ускользает: это выбивало меня из будничной колеи. Я двадцать раз перечитал последние страницы «Госпожи Бовари», под конец я выучил наизусть целые абзацы, но поведение несчастного вдовца не стало мне понятнее: он нашел письма, но с какой стати отпускать из-за этого бороду? Он мрачно поглядывал на Родольфа, стало

быть, обижался на него — но *за что*? И почему он говорил Родольфу: «Я на вас не сержусь!» И почему Родольф считал, что тот «смешон и даже отчасти гадок»? Потом Шарль Бовари умирал. От чего? От болезни, с горя? И зачем доктор разрезал его, раз уж все было кончено? Мне нравилось это упорное сопротивление, которое я так и не мог преодолеть до конца; я терялся, изнемогал и внушал тревожное наслаждение — понимать, не понимая: это была толща бытия. Человеческое сердце, о котором так охотно рассуждал в семейном кругу мой дед, всегда казалось мне полным и пресным — но только не в книгах. Замысловатые имена действовали на мое настроение, вселяли в меня смятение и грусть, причины которых я не понимал. Стоило мне сказать «Шарбовари», и где-то в нигде мне виделся долговязый бородач в лохмотьях, слонявшийся за забором, это было нестерпимо. Мои мучительные наслаждения питались смесью двух противоположных страхов. С одной стороны, я боялся очертя голову ринуться в этот неправдоподобный мир и странствовать ТАМ в компании Горация и Шарбовари без надежды найти когда-нибудь обратный путь на улицу Ле Гофф, к Карлимами и матери. С другой стороны, я догадывался, что вереницы книжных

фраз полны для взрослых читателей смысла, который не дается мне в руки. Я вбирал глазами ядовитые слова, куда более многозначные, чем мне это представлялось, и они оседали в моем мозгу. Загадочная сила, живописуя словом истории безумцев, не имевших ко мне никакого отношения, рождала во мне мучительную скорбь, ощущение разбитой жизни. Уж не заражусь ли я, не умру ли от этой отравы? Поглощая Глагол, поглощенный образами, я уцелел только благодаря несовместимости двух опасностей, грозивших мне одновременно. С наступлением вечера, затерявшись в словесных джунглях, вздрагивая при каждом шорохе, принимая скрип половиц за чьи-то вопли, я, казалось, открывал язык в его первозданной сущности до человека. С каким трусливым облегчением и с каким разочарованием возвращался я к прозе семейного бытия, когда мать входила в комнату и, зажигая свет, восклицала: «Но ведь ты же испортишь глаза, глупыш!» Я обалдело вскакивал, начинал кричать, бегать, кривляться. Но, даже возвращаясь в свое детство, я продолжал ломан, себе голову: «О *чем* рассказывают книги? Кто их пишет? Зачем?» Я поведал о своих терзаниях деду, тот, поразмыслив, решил, что пришла пора меня просветить, и взялся за

дело так, что навсегда наложил на меня клеймо.

В прежние времена дед не раз, бывало, подбрасывал меня па вытянутой ноге и напевал: «Оставляет мой гнедой кучки яблок за собой», — и я хохотал над таким неприличием. Теперь дед больше не пел: он усадил меня к себе на колени, заглянул мне в глаза. «Я человек, — произнес он голосом оратора. — Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Он сильно преувеличивал: если Платон изгонял из своей республики поэтов, дед изгонял инженеров, торговцев и, пожалуй, офицеров. Фабрики, на его взгляд, портили пейзаж, в чистой науке его привлекала только чистота. В Гериньи, где мы обычно проводили вторую половину июля, мой дядя Жорж пригласил нас как-то посмотреть литейный завод; было жарко, нас толкали грубые, плохо одетые люди; оглушенный страшным грохотом, я умирал от страха и скуки; когда выпустили плавку, дед присвистнул из вежливости, но взгляд его остался безжизненным. Зато в Оверни в августе он рыскал по деревням, застывая перед какой-нибудь старинной каменной кладкой, и, постукивая концом своей трости по кирпичам, говорил с воодушевлением: «Смотри, малыш, перед тобой галло-римская стена». Дед ценил также церковную

архитектуру и при всей своей ненависти к папистам не мог пройти мимо церкви, не заглянув в нее, если она была готическая; если романская — все зависело от настроения. Он теперь почти не посещал концертов, но когда-то был на них завсегдатаем; он любил Бетховена, его патетику, мощный оркестр; любил Баха, но не так страстно. Иногда он подходил к роялю и, не присаживаясь, брал негнущимися пальцами несколько аккордов; бабушка со сдержанной улыбкой замечала: «Шарль сочиняет». Его сыновья — в особенности Жорж — очень недурно играли; они терпеть не могли Бетховена и превыше всего ценили камерную музыку; но это расхождение во вкусах не смущало деда, он добродушно говорил: «Все Швейцеры — прирожденные музыканты». Когда мне была неделя от роду, взрослым показалось, будто меня обрадовало позвякиванье ложки, и дед объявил, что у меня хороший слух.

Витражи, контрфорсы, резные порталы, псалмы, деревянные и каменные распятия, стихотворные медитации и поэтические созвучия — все эти проявления человеческого духа прямехонько вели нас к божественному. Тем более что к ним следовало присовокупить красоты природы. Одно и то же вдохновение вызвало к жизни

творения господни и великие создания рук человеческих; одна и та же радуга сверкала в пене водопадов, переливалась между строк Флобера, играла в светотенях Рембрандта — имя ей дух. Дух говорил богу о людях, людям свидетельствовал о боге. В красоте мой дед видел реальное воплощение истины и источник самых благородных откровений. В некоторых исключительных случаях — когда в горах разражалась буря, когда на Виктора Гюго нисходило вдохновение — можно было достичь высшей точки, где истина, красота и добро сливались воедино.

Я обрел свою религию: книга стала мне казаться важнее всего на свете. В книжных полках я отныне видел храм. Внук служителя культа, я жил на крыше мира, на шестом этаже, на самой верхней ветви священного древа: ею стволом была шахта лифта. Я бродил по комнатам, выходил на балкон, глядел сверху вниз на прохожих, кивал через решетку балкона Люсетте Моро, моей ровеснице и соседке — золотыми локонами и юной женственностью она походила на меня самого, — потом возвращался в *келью* или *предхрамие*, да, собственно говоря, мое «я» вообще его не покидало. Когда мать водила меня в Люксембургский сад — а это случалось

ежедневно, — эти низменные края лицезрели лишь пустую оболочку: мое победоносное «я» не оставляло своего насеста. Полагаю, что оно там и поныне. У каждого человека свои природные координаты: уровень высоты не определяется ни притязаниями, ни достоинствами — все решает детство. Моя высота — шестой этаж парижского дома с видом на крыши. В долинах я задыхался, низины меня угнетали: казалось, я на планете Марс и еле волочу ноги, меня расплющивала сила тяготения. Стоило мне взобраться на бугорок, я блаженствовал; я возвращался на свой символический шестой этаж, вдыхал разреженный воздух изящной словесности, вселенная уступами располагалась у моих ног, и каждый предмет униженно молил об имени дать ему имя значило одновременно и создать его, и овладеть им. Не впади я в это капитальное заблуждение, я бы в жизни не стал писателем.

Сегодня, 22 апреля 1963 года, я правлю эту рукопись на десятом этаже нового дома; в открытое окно мне видно кладбище, Париж, голубые холмы Сен-Клу. Казалось бы, я неисправим. И, однако, все изменилось. Если бы в детстве я домогался этого высокого положения, в моем пристрастии к голубятням можно было бы усмотреть плод

честолюбия, тщеславия, желания отыграться за маленький рост. Но все обстояло иначе: мне не к чему было карабкаться на свое священное древо — я уже сидел на нем и просто не хотел слезать. Я и не помышлял о том, чтобы возвыситься над людьми; я хотел парить в воздушном пространстве среди эфемерных подобий мира вещей. В последующие годы я не только не стремился к воздухоплаванию, но всячески пытался опуститься на дно — понадобились свинцовые подошвы. Иногда мне удавалось на песчаном грунте коснуться обитателей морских глубин, которым я был призван дать имя. Но чаще я усердствовал зря: неодолимая легковесность держала меня на поверхности. В конце концов мой высотомер испортился, и теперь я иногда аэростат, иногда батисфера, иногда и то и другое вместе, как и положено нашему брату; по привычке я проживаю в воздухе и без особой надежды па успех встреваю во все, что творится внизу.

Меж тем деду пришлось рассказать мне и о писателях. Он проделал это тактично, без пыла, перечислив имена великих людей. Наедине с собой я вытвердил назубок святцы от Гесиода до Гюго: то были Мученики и Пророки. По словам Шарля Швейцера, он им поклонялся. Но, уж если

говорить начистоту, они его несколько стесняли: их бестактное присутствие мешало ему отнести творенья человеческие непосредственно на счет святого духа. Вот почему в глубине души Шарль предпочитал безымянных авторов: зодчих, скромно стушевавшихся в тени возведенных ими соборов, или многоликого создателя народных песен. Он неплохо относился к Шекспиру, личность которого не была установлена. И к Гомеру — по той же причине. А также еще кое к кому из авторов, чье существование не было неопровержимо доказано. Но тех, кто не захотел или не смог стереть следы своего земного бытия, дед прощал лишь в том случае, если они уже сошли в могилу. Зато всех своих современников он осуждал огулом, делая исключение только для Анатоля Франса и Куртелина, который его забавлял.

Шарль Швейцер самодовольно принимал знаки всеобщего уважения, которые были данью его преклонному возрасту, учености, красоте и добродетелям. Этот лютеранин был не прочь вообразить, вполне в библейском духе, что предвечный бог благословил его дом. За столом он иногда вдруг погружался в задумчивость, чтобы с птичьего полета обозреть свою жизнь, и изрекал: «Дети мои, счастлив тот, кому не в чем себя

упрекнуть». Его вспыльчивость и величавость, его гордость и вкус к возвышенному маскировали робость ума, которую он унаследовал от своей религии, от своего века и своей среды — университета. Вот почему ему втайне претили канонизированные идолы его библиотеки, проходимцы и мошенники, книги которых он в глубине души считал непристойностью. Меня это обмануло: сдержанность, проскальзывавшую в его наигранном энтузиазме, я принял за суровость судьи; духовный сан деда ставил его над писателями. «Как бы там ни было, — внушал мне служитель культа, — талант — это не что иное, как ссуда, заслужить ее можно только великими страданиями, безропотно и стойко выдержав искус; в конце концов начинаешь слышать голоса и пишешь под диктовку». Так, между первой русской революцией и первой мировой войной, пятнадцать лет спустя после смерти Малларме, в эпоху, когда Даниэль де Фонтане открыл для себя «Пищу земную» Андре Жида, сын XIX века внушал своему внуку взгляды, которые были в ходу при Луи-Филиппе. Говорят, что этим-то и объясняется крестьянская косность: отцы уходят на полевые работы, а сыновей оставляют на попечение стариков родителей. Я вышел на старт с гандикапом

в восемьдесят лет. Жалеть ли об этом? Не знаю: наше общество все время в движении, и порой, отстав, вырываешься вперед.

Так или иначе, мне кинули кость, и я грыз ее с таким усердием, что она стала ажурной. Я глядел на мир сквозь нее. Дед втайне мечтал вселить в меня неприязнь к писателям — этим ничтожным посредникам. Он достиг обратного результата: я стал путать талант и заслуги. Эти славные ребята походили на меня: когда я был паинькой, терпеливо сносил свои бобо, я знал, что меня ждет награда, лавровый венок — на то оно и детство. Шарль Швейцер познакомил меня с другими детьми, их опекали, подвергали искусу, награждали, но им удавалось сохранить младенчество на всю жизнь. Лишенный братьев, сестер и товарищей, я обрел в писателях своих первых друзей. Подобно героям собственных романов, они любили, жестоко страдали, но все кончалось хорошо; я умиленно и не без радости перебирал в памяти их злоключения — воображаю, как они ликовали, когда им приходилось туго, как думали при этом: «Вот повезло! Родится хороший стих!»

В моих глазах они не умерли, или, во всяком случае, не совсем — они перевоплотились в книги. Корнель был краснолицым шершавым

толстяком, от его кожаной спины разило клеем. Этот суровый, нескладный тип с малопонятной речью, когда я перетаскивал его с места на место, царапал мне ляжки своими острыми углами. Но стоило его открыть, и он протягивал мне свои гравюры, сумрачные и нежные, как признания. Флобер был коротыш, в полотняной одежде, без запаха, усеянный веснушками. Виктор Гюго в своих бесчисленных ипостасях обитал на всех полках разом. Так обстояло с плотью. Что касается душ, то они витали поблизости, страницы были окнами, чье-то лицо приникало снаружи к стеклу, подглядывая за мной; я делал вид, будто ничего не замечаю, я продолжал читать, пожирая глазами строчки под пристальным взглядом покойного Шатобриана. Впрочем, эти приступы тревоги длились недолго, в остальное время я обожал товарищей моих игр. Я ставил их превыше всего и ничуть не удивился, когда мне рассказали, что Карл V поднял кисть, оброненную Тицианом: подумаешь, короли на то и существуют! Но при этом мне не приходило в голову уважать писателей: в самом деле, не восхвалять же их за то, что они великие? Они просто исполняли свой долг. Я осуждал остальных за то, что они ничтожны. Короче говоря, я все по-

нял шиворот-навыворот и возвел исключение в правило: род человеческий был в моем представлении узким кружком избранных, окруженных стадом преданных животных. Но главное — дед так третировал писателей, что я никак не мог принять их вполне всерьез.

С тех пор как умер Гюго, дед перестал читать новые книги; на досуге он перечитывал старые. Но требой, которую ему надлежало отправлять, был перевод. В тайниках души автор «Deutsches Lesebuch» считал всю мировую литературу наглядным пособием. Скрепя сердце он располагал писателей в порядке их значения, но за этой показной иерархией ему с трудом удавалось скрыть свои сугубо утилитарные симпатии: Мопассан поставлял ученикам-немцам лучшие тексты для перевода с французского; Гете — на голову выше самого Готфрида Келлера — был незаменим по части перевода на французский. Будучи ученым-гуманистом, дед презирал романы, но в качестве преподавателя языка высоко ценил их как лексический материал. В конце концов он вообще стал признавать только избранные отрывки и несколько лет спустя в моем присутствии восторгался фрагментом из «Госпожи Бовари», включенным Миронно в его «Хрестоматию», меж

тем как полный Флобер вот уже двадцать лет ожидал, чтобы дед удостоил его своим вниманием. Я чувствовал, что Шарль зарабатывает на мертвецах, и это несколько усложняло мои с ними отношения. Под видом поклонения дед вертел ими, как хотел, при случае не стесняясь расчленял на части, дабы было сподручнее переводить их с одного языка на другой. Так мне одновременно открылось величие и ничтожество пишущей братии. Мериме, на свою беду, соответствовал учебной программе — в результате он вел двойную жизнь. «Коломба», невинная голубка, свившая гнездышко на четвертой полке, тщетно протягивала свои глянцевитые крылышки — ею упорно пренебрегали, ничей взгляд ни разу не смутил ее невинности. Зато на нижней полке та же самая девственница забилась под коричневый переплет, в маленькую вонючую и потрепанную книжонку; тот же сюжет, тот же язык, но в этом издании были примечания на немецком языке и постатейный словарь. В довершение всего я обнаружил — скандал, равного которому не было со времен отторжения Эльзас-Лотарингии, — что она издана в Берлине. Эту книгу дед два раза в неделю вкладывал в свой портфель, она была вся в пятнах, прожжена пеплом, исчеркана красным,

я терпеть ее не мог: это был Мериме униженный. При одном взгляде на ее страницы я умирал от скуки; каждое слово казалось разъятым на слоги, точно дед диктовал его ученикам. Нет, эти знакомые и неузнаваемые значки, отпечатанные в Германии и предназначенные для немцев, были просто-напросто подделкой под французские слова. Вдобавок тут попахивало шпионажем: наверное, стоит их поскрести, и под галльским нарядом проступят ощерившиеся германские вокабулы. В конце концов я стал подозревать, что существуют две «Коломбы» — одна необузданная и подлинная, другая дидактичная и фальшивая. Ведь были же две Изольды.

Невзгоды моих друзей-писателей вселили в меня сознание, что я им ровня. Правда, у меня не было ни их талантов, ни их заслуг, и мне пока еще не пришло на ум взяться за перо, но зато, как внук священнослужителя, я был выше их по рождению. Моя участь решена. Нет, меня ждет не их мученический венец в нем есть всегда оттенок скандальности, — а посвящение в сан; подобно Шарлю Швейцеру, я стану дозорным культуры. К тому же в отличие от всех этих писателей я жив и полон энергии: еще не умея кромсать мертвецов, я уже навязываю им свои капризы беру их на ру-

ки, ношу по комнате, кладу на паркет, открываю, закрываю, вызываю из небытия и вновь ввергаю в него; эти обкорнанные человечки заменяют мне кукол, их бедные параличные останки, которые зовутся бессмертием, внушают мне жалость.

Дед поощрял это панибратство: во всех детях есть искра божия, они ни в чем не уступают поэтам, ведь поэты те же дети. Я бредил Куртелином и по пятам ходил за кухаркой, чтобы даже на кухне читать ей вслух «Теодора ищет спички». Мое увлечение сочли забавным, раздули неусыпными стараниями, моя страсть была предана гласности. Однажды дед как бы вскользь обронил: «Куртелин, наверно, славный малый. Раз ты его так любишь, почему бы тебе не написать ему?» Я написал. Шарль Швейцер направлял мое перо и счел уместным сохранить в письме орфографические ошибки. Несколько лет назад письмо было напечатано в газетах, и я прочитал его не без злости. Оно было подписано «Ваш будущий друг» — это казалось мне вполне естественным: я был на короткой ноге с Вольтером и Корнелем, с чего бы вдруг *живой* писатель вздумал отказывать мне в дружбе. Куртелин отказал и поступил умно: если бы он ответил внуку, ему пришлось бы иметь дело с дедом. Но в ту пору мы сурово

осудили его молчание. «Я допускаю, что он очень занят, — заявил Шарль. — Но, как бы там ни было, черт его дери, ребенка не оставляют без ответа».

За мной и поныне водится этот грешок — панибратство. Со знаменитыми покойниками я на «ты», о Бодлере, Флобере высказываюсь без обиняков, и, когда мне это ставят в вину, меня так и подмывает ответить: «Не суйте нос не в свое дело. Ваши гении во время оно принадлежали мне, я держал их в своих объятиях, любил страстной любовью без тени почтения. Стану я разводить с ними церемонии!» Но от гуманизма Карла, этого церковного гуманизма, я исцелился лишь в тот день, когда понял, что в каждом человеке — весь Человек сполна. Грустная штука исцеление — язык утратил свои колдовские чары, герои пера, давние мои вельможи, лишившись своих привилегий, смешались с толпой: я ношу по ним двойной траур.

То, что я написал сейчас, ложь. Правда. Ни ложь и ни правда, как все, что пишется о безумцах, о людях. Я воспроизвел факты с максимальной точностью, насколько мне позволила память. Но в какой мере я сам верил в свой бред? Это самый главный вопрос, меж тем я не знаю, как на него ответить. Впоследствии я убедился, что в

своих чувствах мы знаем все, не знаем только их глубины, то есть искренности. Тут даже поступки не могут служить мерилом, во всяком случае, до тех пор, пока не доказано, что они не поза, а доказать это не всегда легко. Судите сами: один среди взрослых, я был взрослым в миниатюре и читал книги для взрослых — в этом уже есть фальшь, потому что при всем том я оставался ребенком. Я не собираюсь каяться я констатирую, и только. Тем не менее мои исследования и открытия были неотъемлемой частью Семейной комедии, они вызывали восторг, и я это знал да, знал; каждый день чудо-ребенок тревожит покой магических книг, которые его дед больше не читает. Я жил не по возрасту, как живут не по средствам: пыхтя, тужась, через силу. напоказ. Стоило мне толкнуть дверь кабинета, и я попадал во чрево неподвижного старца: громадный письменный стол, бювар, красные и синие чернильные пятна на розовой промокашке, линейка, пузырек с клеем, застоявшийся табачнй дух, а зимой раскаленная комнатная печурка, потрескивание слюды — это был Карл собственной персоной, овеществленный Карл. Большего не требовалось, чтобы на меня сошла благодать, — я бегом устремлялся к книгам. Искренне ли? Что понимать под этим

словом? Как я могу теперь, после стольких лет, определить неуловимую грань, где кончается одержимость и начинается лицедейство? Я растягивался на полу лицом к свету, передо мной — открытая книга, справа — стакан подкрашенной вином воды, слева на тарелке — ломтик хлеба с вареньем. Даже в одиночестве я продолжал играть комедию. Анн-Мари, Карлимами перелистывали эти страницы задолго до моего рождения, моему взору представлялась теперь сокровищница их знаний; вечером меня спросят: «Что ты прочел? Что ты понял?» — я это знал, я был на сносях, готовясь разрешиться очередной детской остротой.

Уходить от взрослых в чтение — значило еще теснее общаться с ними; их не было рядом, но их вездесущий взгляд проникал в меня через затылок и выходил через зрачки, подсекая на уровне пола сто раз читанные ими фразы, которые я читал в первый раз. Выставленный на обозрение, я видел себя со стороны: я видел, как я читаю, подобно тому как люди слышат себя, когда говорят. Сильно ли я изменился с той поры, когда, еще не зная букв, притворялся, будто разбираю по складам «Злоключения китайца»? Нет, прежняя игра продолжалась. За моей спиной

открывалась дверь, это приходили посмотреть, «что я там делаю»; я начинал плутовать вскочив одним прыжком, я ставил на место Мюссе и, приподнявшись на цыпочки, тянулся за увесистым Корнелем; мои увлечения измерялись моими потугами, я слышал за спиной восторженный шепот: «До чего же он *любит* Корнеля!» Я его не любил: александрийский стих нагонял на меня тоску. По счастью, в этом издании полностью были опубликованы только самые знаменитые трагедии, остальные лишь названы и кратко пересказаны. Это-то меня и привлекало. «Роделинда, жена Пертарита, короля лангобардов, побежденного Гримоальдом, понуждаема Юнульфом отдать свою руку иноземному государю…» «Родогунду», «Теодору», «Агезилая» я прочел куда раньше «Сида» и «Цинны»; на языке у меня теснились звучные имена, в груди возвышенные чувства, и я тщательно следил за тем, чтобы не запутаться в родственных связях. А дома говорили: «Малыш жаждет знаний, он запоем читает Ларусса». Я не спорил. На самом деле я вовсе не жаждал знаний — просто я обнаружил, что в словаре есть краткий пересказ пьес и романов: этим-то я и зачитывался.

Я любил нравиться и жаждал принять курс

интеллектуальных ванн. Каждый день я причащался святых тайн, иной раз довольно рассеянно, — вытянувшись на полу, я просто перелистывал страницы, произведения моих приятелей зачастую исполняли для меня ту же роль. что вертушка с молитвами для буддистов. Но мне случалось переживать и подлинные страхи и радости. Тогда я забывал о лицедействе и очертя голову отдавался на волю шального кита, имя которому — жизнь. Вот и судите тут! Мой взгляд ощупывал слова, мне приходилось прикидывать так и эдак, вникать в их смысл, в конечном счете Комедия культуры приобщала меня к культуре.

Между тем были книги, которые я читал «без дураков», только я делал это за стенами святилища, в детской или под столом в столовой. Об этих книгах я не заикался никому, и никто, кроме матери, о них со мной не заговаривал.

Анн-Мари приняла всерьез мои наигранные восторги. Она поведала о своих тревогах Мами и обрела в ней полную единомышленницу: «Шарль делает глупость, — сказала Луиза. — Он сам подстрекает малыша, я уже заметила. Велик будет прок, если ребенок иссушит мозги!» Женщины вспомнили тут и переутомление и менингит. Но вести против деда открытую атаку было и

опасно, и бесполезно, они прибегли к обходному маневру. Однажды во время нашей прогулки Анн-Мари как бы случайно остановилась возле книжного ларька, который и по сей день стоит на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Суффло; мне в глаза бросились восхитительные картинки. Завороженный их кричащими красками, я потребовал, чтобы мне их купили, — мое желание было исполнено. Удар попал в цель. Теперь я каждую неделю требовал «Сверчка», «Ну и ну!», «Каникулы», «Три бойскаута» Жана де ла Ира и «Вокруг света на аэроплане» Арну Галопена, которые выходили отдельными выпусками по четвергам. От четверга до четверга я куда больше думал об Андском Орле, о Марселе Дюно, боксере со стальными кулаками и о пилоте Кристиане, чем о своих приятелях Рабле и Виньи.

Мать пустилась на поиски книг, которые вернули бы меня моему детству; началось с «розовой библиотеки» ежемесячных сборников волшебных сказок, потом я перешел к «Детям капитана Гранта», «Последнему из могикан», «Николасу Никильби», «Пяти су Лавареда». Излишней уравновешенности Жюля Верна я предпочитал несуразицы Поля д'Ивуа. Но независимо от авторов я обожал книги в издании Гетцеля — мой

маленький театр, их красная обложка с золотыми кистями была занавесом, золотистая солнечная пыль на обрезах — светом рампы. Именно этим волшебным шкатулкам, а не размеренным фразам Шатобриана обязан я своей первой встречей с красотой. Открыв их, я забывал обо всем. Можно ли сказать, что я читал? Нет, я умирал в экстазе, и это самоуничтожение тотчас вызывало к жизни туземцев, вооруженных дротиками, джунгли, путешественника в белом тропическом шлеме. Я весь уходил в *видение*, я струил потоки света на смуглые щеки красавицы Ауды, на бакенбарды Филеаса Фона. Освобожденный от самого себя, чудо-ребенок наконец-то МОГ без помех отдаться чудесам. На уровне пятидесяти сантиметров от пола расцветало подлинное счастье — без указки. без поводка. Правда, вначале новый мир показался менее упорядоченным, чем старый. Тут грабили, убивали, кровь текла ручьем. Индейцы, индусы, могикане, готтентоты похищали юную красавицу, веревками скручивали ее старика отца, готовя ему мучительную смерть. Это было олицетворенное зло. Но его только для того и показывали, чтобы повергнуть в прах перед добром — в следующей же главе все становилось на свои места. Бледнолицые герои истребляли уйму дика-

рей и освобождали отца, который бросался в объятия дочери. Умирали только злодеи и кое-кто из совершенно второстепенных положительных героев, чья гибель списывалась на счет накладных расходов истории. Впрочем, и сама смерть была стерилизована: скрестив руки, люди падали с аккуратной круглой дырочкой под левой грудью, а если речь шла о временах, когда еще не изобрели огнестрельного оружия, преступников просто «нанизывали на шпагу». Мне очень нравилось это залихватское выражение: я себе представлял блестящий прямой луч — клинок; он, как в масло, погружался в тело злодея, выходил через спину, и убитый валился наземь, не потеряв ни капли крови. Иногда смерть бывала даже смешной, как, например, смерть сарацина, кажется, в «Крестнице Ролланда»: он на коне ринулся наперерез всаднику-крестоносцу, рыцарь обрушил на голову неверного смертоносный удар сабли, которая рассекла сарацина пополам, — рисунок Гюстава Доре запечатлел это мгновенье. Вот смеху-то — две половинки тела, отделенные друг от друга, уже начали падать в разные стороны, описывая полукруг вокруг стремени, удивленный конь встал на дыбы. Много лет подряд при виде этой гравюры я хохотал до слез. Наконец я обрел то,

что искал: врага ненавистного, но в конечном счете безобидного, потому что все его козни не только не имели успеха, но даже, наоборот, вопреки его ухищрениям и дьявольскому коварству служили вящему торжеству добра. И действительно, я замечал, что водворение порядка всегда сопровождалось какими-нибудь благодатными сдвигами: герои получали награду, им воздавали почести, их увенчивали славой, осыпали деньгами; благодаря их отваге удавалось покорить новую территорию, отобрать какое-нибудь произведение искусства у туземцев и перенести в наши музеи; юная героиня влюблялась в путешественника, спасшего ей жизнь, и все кончалось свадьбой. Из этих журналов и книг я почерпнул свою самую заветную иллюзию — оптимизм.

Чтение этих книг долгое время хранилось в тайне. Анн-Мари даже не пришлось меня предостерегать: сознавая всю их недостойность, я и словом не обмолвился о них деду. Якшаясь с подонками, пустившись в разгул, проводя каникулы в борделе. я не забыл, что мое истинное «я» в храме. Зачем оскорблять слух священника повестью о моих грехах? Но Карл в конце концов застиг меня на месте преступления. Он обрушился на женщин, а они. воспользовавшись минутной

паузой, когда он переводил дух, свалили все на меня: я увидел журналы, приключенческие романы, стал их просить, требовать — можно ли было мне отказать? Эта находчивая ложь поставила деда в тупик. Я сам, по собственной охоте, изменял Коломбе с бесстыдно раскрашенными девками. Я, вещее дитя, юный оракул, Иоас изящной словесности, проявлял неистовую тягу ко всякой гнусности. Слово за ним: либо я больше не пророк, либо надо считаться с моими вкусами, не пытаясь их понять. Шарль Швейцер-отец предал бы мое чтиво огню; Шарль Швейцер-дед стал в позу удрученной снисходительности. А мне только того и надо было — я безмятежно продолжал жить двойной жизнью. Так повелось и впредь: я и поныне читаю «черную серию» с большей охотой, чем Витгенштейна.

На своем воздушном островке я первенствовал, я был вне конкурса; стоило поставить меня в обычные условия — и я оказался в числе последних.

Дед решил отдать меня в лицей Монтеня. Однажды утром он привел меня к директору и расписал мои достоинства; недостаток у меня один — я слишком развит для своих лет. Директор согласился на все. Меня зачислили в восьмой класс, и я

ждал, что буду учиться со своими сверстниками. Не тут-то было — после первой же диктовки деда срочно вызвали к лицейскому начальству. Он вернулся вне себя от ярости, извлек из портфеля злосчастный листок бумаги, покрытый каракулями и кляксами, и швырнул его на стол — это была работа, которую я подал. Деду указали на мою орфографию — «В агароди растет маркофь» — и попытались втолковать, что мое место в десятом приготовительном. При виде «агарода» мою мать одолел неудержимый смех, он застрял у нее в горле под грозным взглядом деда. Сначала Шарль заподозрил меня в нерадивости и впервые в жизни выбранил, но потом объявил, что меня недооценили; на другой же день он взял меня из лицея, навсегда поссорившись с директором.

Я так и не понял, что произошло, и мой провал ничуть меня не опечалил — я вундеркинд, но не умею писать грамотно, велика беда! И потом я был не прочь вернуться к своему одиночеству, я любил свой недуг. У меня даже и мысли не возникало, что я упустил случай стать самим собой. Мне наняли частного учителя — парижанина господина Льевена. Он приходил к нам на дом почти каждый день. Дед купил мне письменный стол — скамеечку с пюпитром из некрашеного де-

рева. Я садился на скамеечку, а господин Льевен диктовал, расхаживая по комнате. Он смахивал на Венсана Ориоля, и дед утверждал, будто он масон. «Когда я подаю ему руку, — говорил дед с пугливым отвращением порядочного человека, к которому пристает педераст, — он большим пальцем рисует на моей ладони масонский знак». Я терпеть не мог господина Льевена, потому что ему не приходило в голову мной восторгаться; подозреваю, что он не без оснований считал меня отсталым ребенком. Он исчез, не знаю почему. Должно быть, высказал кому-нибудь свое мнение обо мне.

Некоторое время мы прожили в Аркашоне, там меня отдали в начальную школу. Это была дань деда своим демократическим принципам. Однако он в то же время хотел, чтобы меня держали подальше от плебса. Учителю он представил меня в следующих выражениях: «Дорогой коллега, вверяю вам самое драгоценное свое достояние». Господин Барро носил бородку и пенсне, он зашел к нам на дачу распить бутылочку муската и заверил деда, что польщен доверием, оказанным ему представителем высшей школы. Он сажал меня за отдельную парту возле самой кафедры и во время перемен не отпускал от себя. Я считал,

что эта привилегия в порядке вещей; каково на сей счет было мнение «сыновей народа» — моих равноправных сограждан, — понятия не имею, полагаю, что им было на это плевать. Я уставал от их проказ и считал хорошим тоном томиться скукой подле господина Барро, пока они бегали взапуски.

У меня было две причины уважать моего учителя: он желал мне добра и у него дурно пахло изо рта. Взрослым полагалось быть морщинистыми, неаппетитными уродами; когда они меня целовали, мне нравилось преодолевать легкую тошноту, это доказывало, что добродетель дается дорогой ценой. Я знавал, конечно, и простые, банальные радости: бегать, прыгать, лакомиться пирожными, целовать душистую и нежную щеку матери, но куда больше ценил радости выстраданные, требующие усилия над собой, их я вкушал в обществе зрелых мужей. Отвращение, которое они во мне вызывали, составляло неотъемлемую часть их престижа. Я смешивал чувство брезгливости с уважением. Я был снобом. Когда господин Барро склонялся ко мне, его дыхание подвергало меня изощренной пытке, но я усердно втягивал носом неблаговонный дух его достоинств.

В один прекрасный день я обнаружил на

школьной стене только что выведенную надпись: «Папаша Барро — дерьмо». Мое сердце бешено заколотилось, я оторопело прирос к месту, — мне стало страшно. «Дерьмо» — это наверняка одно из тех «гадких слов», которые кишат среди словарных отбросов и не должны попадаться на глаза благовоспитанному ребенку; короткое и грубое, оно было наделено пугающей элементарностью простейших организмов. Одно то, что я его прочел, вопияло к небесам! Я запретил себе произносить его даже шепотом. Я не хотел, чтобы этот таракан, прилепившийся к стене, прыгнул мне в рот и превратился у меня в глотке в черное шуршанье. Как знать, может, если я притворюсь, будто не видел его, он уползет обратно в свою щель. Но, отводя от него глаза, я упирался взглядом в бесцеремонное обращение «папаша Барро», которое нагоняло на меня еще пущий страх, — о смысле слова «дерьмо» я, в конце концов, только догадывался, но зато я твердо знал, какого сорта людей у нас дома именуют «папаша такой-то» — это были садовники, почтальоны, отец служанки — короче говоря, престарелые бедняки. Стало быть, кто-то представлял себе господина Барро, учителя, коллегу деда, в образе престарелого бедняка. Где-то, в чьем-то мозгу бродила

эта больная и преступная мысль. Но в чьем же мозгу? Уж не в моем ли? Может, стоит прочесть кощунственную надпись, и ты становишься соучастником святотатства? Мне казалось, что какой-то злобный безумец издевается над моей благовоспитанностью, почтительностью, усердием, над моей готовностью снимать по утрам фуражку со словами: «здравствуйте, господин учитель», и в то же время, что этот безумец — я сам, что гадкие слова и мысли копошатся в моем сердце. Почему бы мне, например, не заорать во все горло: «Этот старый павиан воняет, как свинья?» Я прошептал: «Папаша Барро — вонючка», — все поплыло у меня перед глазами, я в слезах спасся бегством. На другое утро я вновь обрел привычное почтение к господину Барро, к его целлулоидному воротничку и галстуку-бабочке. Но когда он склонялся над моей тетрадью, я отворачивался, задерживая дыхание.

С осени следующего года мать решила отдать меня в учебное заведение девиц Пупон. Поднявшись по деревянной лестнице, мы попадали в классную комнату на втором этаже; дети в молчании рассаживались полукругом; в глубине, у самой стены, словно на часах, сидели матери, наблюдавшие за ходом урока. Главной обязан-

ностью бедных девушек, обучавших нас, было равномерно распределять среди сонма вундеркиндов похвалы и хорошие отметки. Стоило одной из них выразить досаду или чересчур одобрить чей-нибудь удачный ответ, как девицы Пупон теряли учеников, а учительница — место. Нас, юных академиков, было человек тридцать, и нам никогда не удавалось перемолвиться хотя бы словом. По окончании урока каждая мать хищно набрасывалась на свое чадо и, не простившись, увлекала его за собой. К концу первого семестра мать взяла меня из школы — мы там били баклуши, и вдобавок ей было невмоготу сносить мрачные взгляды соседок, обращенные к ней в минуты, когда наступал мой черед пожинать похвалы. Мадемуазель Мари-Луиза, молоденькая блондинка в пенсне, восемь часов в день за нищенское жалованье преподававшая в заведении Пупон, согласилась тайком от начальниц давать мне частные уроки. Она то и дело прерывала диктовку, чтобы облегчить душу глубоким вздохом; она жаловалась мне, что до смерти устала, что одинока как перст, что готова отдать все на свете, лишь бы выйти замуж, хоть за первого встречного. В результате она тоже исчезла, якобы потому, что ничему меня не учила, но мне сдается, что

главная причина была в другом — дед считал ее неудачницей. Этот праведник не отказывал страждущим в утешении, но гнушался приглашать их к себе в дом. Он спохватился вовремя — мадемуазель Мари-Луиза сеяла в моей душе семена сомнения. Я знал, что жалованье всякого человека соразмерно его достоинствам, а про мадемуазель Мари-Луизу говорили, что она девушка достойная, — почему же ей платили гроши? Когда человек исполняет свои обязанности, он горд и полон самоуважения, он счастлив, что трудится; но раз так, раз она сподобилась трудиться по восемь часов в день, с какой стати ей плакаться на жизнь? Когда я пересказывал деду ее жалобы, он хохотал — она слишком безобразна, чтобы кто-нибудь на нее польстился. Я не смеялся: значит, бывают проклятые от рождения? Выходит, мне солгали — в нашем благополучном мире узаконены чудовищные беззакония. Но как только учительницу рассчитали, мои тревоги улеглись. Шарль Швейцер отыскал для меня наставников более пристойных. До того пристойных, что они совершенно изгладились из моей памяти. До десяти лет я оставался один-одинешенек в обществе старика и двух женщин.

Мое «я», мой характер, мое имя — все было

в руках взрослых; я приучился видеть себя их глазами, я был ребенком, а ребенок — это идол, которого они творят из своих разочарований. В отсутствие взрослых я чувствовал на себе их взгляд, разлитый в лучах света; под этим взглядом я бегал и резвился, он не давал мне выйти из образа примерного внука и определял мои игры и мой мир. В изящной колбочке, моей душе, мысли совершали свой круговорот, и каждый желающий мог проследить за их ходом — ни одного потайного уголка. И, однако, в этой невинной прозрачности, лишенная имени, формы и плоти, была растворена прозрачная истина, которая отравляла мне все: я лжец. Можно ли играть комедию, не сознавая, что ты ее играешь? Радужная видимость, из которой была соткана моя личность, сама изобличала себя, изобличала ущербность бытия, я не мог осознать ее до конца, но не мог и не ощущать. Я бросался к взрослым, ища подтверждения моих достоинств, то есть снова увязал во лжи. Приговоренный нравиться, я выставлял напоказ свои прелести, но они блеют на глазах. Я повсюду влачил за собой свое наигранное простодушие, свою никчемную значительность в надежде подстеречь счастливый случай; еще минута — и я ухвачу его, я станов-

люсь в позу, и она возвращает меня к привычной пустоте, от которой я бежал. Вот дремлет мой дед, закутав пледом ноги, под кустиками усов виднеется розовая нагота его губ — это нестерпимо. К счастью, очки деда соскальзывают на пол, я стремглав бросаюсь за ними. Дед просыпается, прижимает меня к груди, и мы разыгрываем наш коронный номер, сцену любви. Но я хотел совсем другого. Чего? Не помню, я уже свил себе гнездышко в зарослях его бороды. Вот я вхожу в кухню, заявляю, что хочу помочь — буду мыть салат; возгласы, веселый смех: «Нет, радость моя, не так! Сожми ручонку покрепче — вот, теперь правильно! Мари, помогите ему! Умница, смотрите, как ловко». Я бутафорский ребенок, у меня в руках бутафорская корзинка для салата. Я чувствовал, как любое мое движение перерождается в жест. Комедия заслоняла от меня реальный мир и подлинных людей — я видел только роли и реквизит. Подыгрывая взрослым своим паясничаньем, мог ли я принимать всерьез их заботы? Я шел навстречу их замыслам с похвальной услужливостью, которая мешала мне вникнуть в их цели. Не разделяя ни желаний, ни надежд, ни радостей рода человеческого, я хладнокровно расточал себя во имя того, чтобы его пленять. Он

был моим зрительным залом, зажженная рампа отделяла меня от него, ввергая в горделивое одиночество, всякий раз оборачивавшееся тоской.

Печальнее всего было то, что я и взрослых подозревал в лицедействе. Они обращались ко мне со словами-конфетками, а между собой говорили совсем другим языком. К тому же порой им случалось нарушать молчаливый, но священный уговор: я корчил самую пленительную гримаску, ту, в которой был совершенно уверен, а мне вдруг отвечали настоящим голосом: «Иди поиграй, малыш, не мешай нам разговаривать». А иногда у меня возникало чувство, что я пешка в чужой игре. Мы гуляем с матерью в Люксембургском саду, вдруг откуда ни возьмись появляется дядя Эмиль, который в ссоре со всей семьей. Исподлобья глядя на сестру, он сухо заявляет: «Я пришел сюда не для тебя, я хотел видеть малыша». И он говорит, что я — единственная чистая душа в семье, единственный, кто ни разу не оскорбил его с умыслом, не осудил на основании ложных слухов. Я улыбаюсь, смущенный своим могуществом и любовью, которую зажег в сердце этого бирюка. А брат и сестра тем временем уже толкуют о своем, перечисляя взаимные обиды; Эмиль почем зря ругает Шарля, Анн-Мари защищает отца, понемногу

сдавая позиции, разговор переходит на Луизу, а я стою тут же, и никому до меня нет дела.

Будь я по возрасту способен это понять, я как губка впитал бы кодекс прописной морали консерваторов, наглядным примером которой было поведение старого радикала: правда и вымысел — одно и то же; если хочешь почувствовать страсть, делай вид, что ее чувствуешь; человек — существо, созданное для ритуала. Мне внушили, что мы на то и живем, чтобы разыгрывать комедию. Я готов был в ней участвовать, но при условии, что мне предоставят главную роль. Однако в минуты озарения, которые повергали меня в отчаяние, я замечал, что роль у меня дутая: текст длинный, много выходов, но ни одной сцены, где я был бы пружиной действия, одним словом, я только подаю реплики взрослым. Шарль меня ласкал, чтобы задобрить смерть, Луиза находила в моих проказах оправдание своему дурному настроению, Анн-Мари — своей покорности. И, однако, не будь меня, родители все равно приютили бы Анн-Мари, а ее безответность все равно сделала бы ее игрушкой Луизы. Не будь меня, Мами все равно дулась бы на всех, а Шарль восторгался бы вершинами Мон-Сервен, метеорами или чужими детьми. Я был случайным предлогом их ссор и

примирений, подлинные причины крылись в другом, их надо было искать в Маконе, Гупсбахе, Тивье, в старом, дряхлеющем сердце, в прошлом, в том. что происходило задолго до моего рождения. Я был для взрослых отражением семейного лада и стародавних семейных несогласий. они пользовались моим богоданным детством, чтобы выявить свое «я». А сам я жил в тревоге: в то время как весь их ритуал призван был убедить меня, что нет на свете ничего нецелесообразного, что все, от мала до велика, занимают определенное место в мире, смысл моего собственного существования от меня ускользал, я чувствовал себя сбоку припека я стыдился своего неоправданного присутствия в этом упорядоченном мире.

Будь у меня отец, он обеспечил бы меня бременем устойчивых предрассудков. Внедрившись в мое «я», он обратил бы свои прихоти в мои устои, свое невежество в мою эрудицию, свою ущемленность в мое самолюбие, свои причуды в мои заповеди. Сей почтенный квартирант внушил бы мне самоуважение, а самоуважение стало бы основой моего права на жизнь. Мой родитель определил бы мою будущность: инженер от рождения, я не знал бы ни забот, ни хлопот. Но если Жан-Батисту Сартру была ведома тайна моего

предназначения, он унес ее с собой в могилу; мать запомнила только, что он говорил: «Моряком моему сыну не бывать». За неимением более точных сведений никто на свете, начиная с меня самого, не знал, на кой черт я копчу небо. Оставь мой отец наследство, мои детские годы прошли бы поиному, я не стал бы писать, потому что я был бы другим. Молодой наследник земельных угодий и прочей недвижимости видит в них устойчивое отражение своего собственного «я»; ступая по *своему* гравию, касаясь ромбовидных стекол *своей* веранды, он осязает самого себя, в их незыблемости он усматривает бессмертную сущность своей души. Несколько дней назад я слышал, как семилетний мальчонка, сын владельца ресторана, кричал кассирше: «Когда отца нет, здесь хозяин я!» Вот это личность! В его годы я не был ничьим хозяином и не имел ни гроша за душой. В редкие минуты, когда мне случалось расшалиться, мать шептала мне: «Опомнись — мы не у себя!» Мы никогда не были у себя: ни на улице Ле Гофф, ни позже, когда мать вышла замуж второй раз. Я от этого не страдал, потому что мне ни в чем не отказывали, но я оставался абстракцией. Владелец благ земных видит в них отражение того, что он есть, мне они указывали на то, чего во мне нет. Во

мне не было ни весомости, ни преемственности, я не был продолжателем отцовского дела, я не был необходим для производства стали — короче, мне не хватало души.

Впрочем, беда была бы невелика, живи я в добром согласии со своим телом. Но мы составляли с ним странную пару. Ребенок, прозябающий в нищете, не задает себе праздных вопросов. Лишения и болезни непрерывно подвергают испытаниям его тело, условия жизни, которым нет оправдания, оправдывают его бытие, голод и вечная угроза смерти — вот его право на существование: он живет, чтобы не умереть. Я же не был ни настолько богат, чтобы верить в свое предназначение, ни настолько беден, чтобы воспринимать свои желания как насущную потребность. За столом я выполнял свои обязанности едока, и господь ниспосылал мне иногда — изредка — благодать, состоящую в том, чтобы есть без отвращения, то есть аппетит. Бездумно дыша, переваривая пищу. испражняясь, я жил по инерции, потому что начал жить. Мой откормленный напарник — мое тело — не досаждало мне ни первобытными порывами, ни буйными требованиями: оно давало о себе знать посредством цепи легких недомоганий, к которым

взрослые относились весьма участливо. В ту пору в каждой уважающей себя семье должен был быть по меньшей мере один хилый ребенок. Я был истинная находка, потому что едва не отдал богу душу при рождении. С меня не спускали глаз, щупали пульс, мерили температуру, заставляли показывать язык. «Тебе не кажется, что он сегодня немного бледен?» — «Это от освещения». — «Да право же, он похудел!» — «Папа, но ведь мы его вчера взвешивали!» Под этими неусыпными взглядами я начинал чувствовать себя неодушевленным предметом, комнатным растением. Кончалось всегда тем, что меня укладывали в постель. Задыхаясь от жары, потея под одеялами, я уже не мог разобрать, что меня тяготит — мое собственное тело или недомогание.

Господин Симонно, коллега моего деда, приходил к нам обедать по четвергам. Я был полон зависти к этому пятидесятилетнему мужчине с девичьими щечками, нафабренными усами и подкрашенным коком. Когда Анн-Мари для поддержания разговора спрашивала его, любит ли он Баха, нравится ли ему жить у моря, в горах, поминает ли он добром свой родной город, он погружался в раздумье, вперив внутреннее око в гранитный массив своих вкусов. Получив иско-

мый ответ, он сообщал его матери бесстрастным тоном, покачивая головой. Счастливец! — думал я. Должно быть, он каждое утро просыпается в праздничном настроении и, обозрев с некой высшей точки все пики, гребни и долины своей души, сладко потягивается со словами: «Воистину это я, господин Симонно, с головы до пят». Конечно, я и сам мог, когда меня спрашивали, сказать, что мне нравится, а что нет, и даже объяснить почему. Но наедине с собой я терял представление о своих вкусах, я не мог просто констатировать их, мне приходилось ловить их, подталкивать, вдувать в них жизнь. Я не был уверен даже в том, что предпочитаю говяжий филей телячьему жаркому. Дорого бы я дал, чтобы во мне возник пересеченный ландшафт с громадами предвзятых мнений, несокрушимых как скалы. Когда госпожа Пикар, тактично пуская в ход модное словечко, говорила про деда «Шарль — восхитительное существо» или «Каждое существо — загадка», я чувствовал, что обречен. Камни Люксембургского сада, господин Симонно, каштаны, Карлимами — все это были «существа». А я — нет, во мне не было ни устойчивости, ни глубины, ни непроницаемости. Я был ничто — безнадежная прозрачность. А с того дня, как я узнал, что господин Симонно, этот

монумент, эта монолитная глыба, в довершение всего необходим миру, зависть моя перешла все границы.

В Институте новых языков был праздник. Моя мать играла Шопена, собравшиеся аплодировали в дрожащем свете газовых горелок. По требованию деда все изъяснялись на французском языке тягучем, гортанном, по-старомодному вычурном, торжественном, как оратория. Я перелетал из рук в руки, не касаясь пола. И вдруг в ту минуту, когда меня душила в объятиях немецкая романистка, дед с высоты своего величия изрек приговор, который поразил меня в самое сердце: «А здесь кого-то не хватает. Я говорю о Симонно». Вырвавшись из объятий романистки, я забился в угол, окружающие исчезли для меня. В центре многоголосого круга я увидел вдруг столп — то был господин Симонно, отсутствующий собственной персоной. Чудодейственное отсутствие преобразило его. На институтский вечер не явились многие — кое-кто из учеников был болен, другие под разными предлогами уклонились от приглашения, но все это были случайные факты, не игравшие никакой роли. *Не хватало* только одного господина Симонно. Стоило произнести его имя — ив переполненный зал, точно нож,

вонзилась пустота. Я был потрясен: оказывается, человек может иметь свое собственное место. Место, закрепленное за ним. Из бездны всеобщего ожидания, словно из невидимой утробы, он вновь рождается на свет. Впрочем, если бы господин Симонно возник вдруг из разверзшейся земли, если бы даже женщины бросились целовать ему руки, меня бы это отрезвило. Телесное присутствие всегда расхолаживает. Беспорочный, сведенный к чистоте отрицательной величины, Симонно обладал несжимаемой кристальностью бриллианта. И именно потому, что мне выпало на долю в каждую данную минуту находиться в определенном пункте земли, среди определенных людей и знать, что я здесь лишний, мне захотелось, чтобы всем другим людям во всех других пунктах земли меня не хватало, как воды, как хлеба, как воздуха.

Это невысказанное желание так и рвалось у меня с языка. Шарль Швейцер в каждом явлении усматривал необходимость, чтобы заглушить в себе горечь, которой я при жизни деда не понимал и о которой только теперь начинаю догадываться. На всех его коллегах держался небесный свод. В числе этих атлантов были грамматики, филологи, лингвисты, господин

Лион-Кан и главный редактор «Педагогического журнала». Дед говорил о них наставительным тоном, чтобы мы полностью уяснили их значение: «Лион-Кан — знаток своего дела. Его место в академии». или: «Шюрер стареет, надеюсь, они не настолько глупы, чтобы принять его отставку; факультет понесет невосполнимую утрату». Окруженный незаменимыми старцами, которые вот-вот исчезнут с лица земли, ввергнув Европу в траур, а не то и в варварство, чего бы я ни отдал, чтобы случилось невероятное и в сердце моем прозвучал приговор: «Малыш Сартр — знаток своего дела. Если его не станет. Франция понесет невосполнимую утрату».

Для буржуазного ребенка мгновения нескончаемы — они текут в бездействии. Я хотел быть атлантом немедля, испокон веку и навсегда, мне и в голову не приходило, что можно потрудиться, чтобы им стать. Мне нужно было верховное судилище, указ, утверждающий меня в правах. Но где взять законодателей? Авторитет старших был подорван их комедиантством. Этих судей я отвел, а других не видел.

Растерявшаяся тля, создание без смысла и цели, ни богу свечка, ни черту кочерга, я искал прибежища в семейной комедии, бегая, лавируя,

порхая от одного обмана к другому. Я спасался от своего никчемного тела и его унылых откровений. Стоило запущенному волчку, наткнувшись на какое-нибудь препятствие, остановиться, и маленький обескураженный комедиант впадал в тупое оцепенение. Подруги сказали матери, что я грустен, о чем-то мечтаю. Мать со смехом прижала меня к груди: «Вот так новости! Да ведь ты у меня всегда весел, всегда поешь. И о чем тебе грустить? У тебя есть все, что хочешь». Она была права: балованный ребенок не грустит. Он скучает, как король. Как собака.

Я собачонка, я зеваю, по щекам катятся слезы, я чувствую, как они текут. Я дерево, ветер шелестит в моих ветвях, легонько их колеблет. Я муха, я ползу по стеклу, соскальзываю, снова ползу вверх. Иногда я ощущаю, как ласку, движение времени, иногда — чаще всего — я чувствую, как время стоит на месте. Дрожащие минуты осыпаются, погребая меня, бесконечно долго агонизируют, они увяли, но еще живы, их выметают, на смену им приходят другие, более свежие, но такие же бесплодные; эта тоска зовется счастьем. Мать твердит мне, что я самый счастливый мальчик в мире, как я могу ей не верить, *ведь это правда*! О своем одиночестве я никогда не думаю во-пер-

вых, я не знаю, как это называется, во-вторых, я его не замечаю, я всегда на людях. Но это ткань моей жизни, основа моих мыслей, уток моих радостей.

Когда мне было пять лет, я познакомился со смертью. Она подстерегала меня, бродя по балкону, прижимаясь мордой к стеклу, я ее видел, но не смел проронить ни звука. Однажды мы встретили ее на набережной Вольтера, это была высокая безумная старуха, вся в черном; поравнявшись со мной, она пробормотала: «Вот я сейчас посажу тебя в карман». В другой раз она приняла форму провала. Дело было в Аркашоне. Карлимами с Анн-Мари пришли проведать госпожу Дюпон и ее сына, композитора, по имени Габриель. Меня оставили в саду. Напуганный разговорами о том, что Габриель болен и скоро умрет, я без увлечения играл в лошадки, гарцуя вокруг дома, и вдруг увидел черную яму это был погреб, кто-то его открыл. Уж не знаю, откуда взялось у меня явственное предчувствие жуткой неотвратимости, я отпрянул и, заорав во все горло, пустился наутек. В ту пору я каждую ночь ждал в своей постели свидания со смертью. Это был целый ритуал: я должен был лечь на левый бок, лицом к проходу между кроватями, весь дрожа,

я готовился ко встрече с ней, и она приходила — зауряднейший скелет с косой. После этого я имел право повернуться на правый бок, она удалялась, и я мог спать спокойно. Днем я узнавал ее в самых неожиданных личинах: стоило матери запеть по-французски «Лесного царя», как я затыкал уши; прочитав басню «Пьяница и его жена», я полгода не открывал Лафонтена. А она, мерзкая тварь, измывалась надо мной, притаившись в томике Мериме, она поджидала, пока я прочту «Венеру Илльскую», чтобы вцепиться мне в горло.

Но ни похороны, ни могилы меня не пугали. Как раз в эту пору заболела и умерла моя бабка Сартр. Мы с матерью, вызванные телеграммой, приехали в Тивье и еще застали ее в живых. Меня почли за благо удалить от места, где угасала эта долгая безрадостная жизнь. Друзья дома взяли меня на свое попечение, приютили, снабдили подобающими случаю играми — назидательными, омраченными скукой. Я играл, читал, изо всех сил изображая образцовую печаль, но ничего не чувствовал. Не чувствовал и тогда, когда мы шли за гробом на кладбище. Смерть блистала своим отсутствием — скончаться не значило умереть, мне даже нравилось превращение этой старухи в надгробную плиту. В этом было преображение,

своеобразное приобщение к бытию, все равно как если бы я вдруг торжественно перевоплотился в господина Симонно. Поэтому я всегда любил и поныне люблю итальянские кладбища: стенающий камень надгробий, словно причудливый образ человека, а на нем медальон с фотографией, напоминающей, как выглядел покойный в своей земной ипостаси. Когда мне было семь лет, настоящую смерть, курносую, я встречал повсюду, только не среди могил. Как я ее себе представлял? Живым существом и угрозой. Существо было безумным, а угрозу я воспринимал так: зев преисподней мог разверзнуться где угодно, при дневном свете, на самом ярком солнце и поглотить меня. Существовала зловещая изнанка мира, она открывалась людям, утратившим рассудок; умереть означало дойти до предела безумия и сгинуть в нем. Я жил в вечном страхе, это был самый настоящий невроз. Я объясняю его так: баловень семьи, дар провидения, я тем сильнее чувствовал свою ненужность, что дома было принято неустанно приписывать мне вымышленную необходимость. Я понимал, что я лишний, стало быть, надо исчезнуть. Я был чахлым ростком, постоянно ожидающим гибели. Иными словами, я был осужден, приговор могли

привести в исполнение с минуты на минуту. А я этому всеми силами противился, не потому, что дорожил существованием, а именно потому, что ничуть им не дорожил, — чем бессмысленней жизнь, тем непереносимее мысль о смерти.

Бог выручил бы меня из беды. Я почувствовал бы себя шедевром, подписанным рукой создателя. Проникшись уверенностью, что во всемирном концерте мне уготована сольная партия, я бы терпеливо ждал, пока он соблаговолит открыть мне свои намерения и подтвердит, что я необходим. Я предчувствовал религию, я уповал на нее, в ней я нашел бы исцеление. Если бы мне в ней отказали, я бы сам ее выдумал. Но мне не отказали. Воспитанный в католической вере, я уразумел, что всемогущий создал меня во славу свою; это превзошло все мои надежды. Но время текло, и в бонтонном боге, которого мне преподали, я не узнавал того, кого алкала моя душа: мне нужен был творец, мне предлагали высокого покровителя. То были два лика одного божества, но я об этом не подозревал. Я без всякого пыла служил кумиру фарисеев, и официальная доктрина отбила у меня охоту искать свою собственную веру.

Мне повезло! В моей душе, унавоженной доверчивостью и унынием, семена веры дали

бы отличные всходы; не случись недоразумения, о котором я говорю, быть бы мне монахом. Но моей семьи коснулся медленный процесс дехристианизации, который зародился в среде высокопоставленной вольтерьянской буржуазии и по прошествии столетия охватил все слои общества. Если бы не всеобщее ослабление веры, провинциальная католическая барышня Луиза Гийемен еще поломалась бы, прежде чем выйти за лютеранина. Само собой, в нашей семье все были верующие — из приличия. Семь-восемь лет спустя после министерства Комба демонстративное неверие все еще отдавало бесстыдством и разнузданностью страсти. Атеист — это был чудак, бесноватый, которого не приглашают в гости из боязни, «как бы он чего не выкинул», фанатик, который отравляет себе жизнь всевозможными запретами, добровольно отказывается от права помолиться в церкви, обвенчать там своих дочерей или поплакать всласть, вменяет себе в обязанность доказывать справедливость своей доктрины чистотой нравов и так рьяно ополчается против своего счастья и покоя, что отвергает предсмертное утешение; это маньяк, одержимый господом богом настолько, что, куда ни глянет, всюду видит его отсутствие, рта не

может раскрыть, чтобы не упомянуть его имени, одним словом, это господин с религиозными убеждениями. У верующего их не было — за две тысячи лет своего существования христианские истины успели стать очевидными, они были доступны всем, им полагалось сиять во взоре священника, в полумраке церкви и просветлять души, но ни у кого не было надобности брать на себя ответственность за них — они были всеобщим достоянием. В хорошем обществе в бога верили, чтобы о нем не говорить. Какую терпимость проявляла религия! До чего же была удобна! Христианин имел право не ходить к мессе, а своих детей венчать по церковному обряду, мог посмеиваться над рыночными херувимчиками Сен-Сюльпис и проливать слезы над свадебным маршем из «Лоэнгрина». От него не требовалось ни вести безгрешную жизнь, ни умирать в отчаянии, ни даже кремироваться. В нашем кругу, в нашей семье вера была всего лишь громким титулом одомашненной французской свободы. Как и многих других, меня крестили, чтобы обеспечить мою независимость; отказав мне в крещении, родня считала бы, что совершила насилие над моей душой. Католик по бумагам, я был свободен, я был такой, как все.

«Вырастет, — говорили родные, — поступит, как ему вздумается». В ту пору считалось куда труднее обрести веру, чем ее потерять.

Шарль Швейцер был слишком большой комедиант, чтобы не испытывать потребности в Великом Зрителе, но о боге он вспоминал редко разве что в особо острые минуты жизни. Уверенный, что обретет его на смертном одре, он держал бога в стороне от своего повседневного бытия. В семейном кругу, соблюдая верность потерянным французским провинциям и жизнелюбивому задору своих братьев-антипапистов, он не упускал случая поиздеваться над католичеством. За столом он отпускал шуточки в духе Лютера. Больше всего доставалось Лурду: Бернадетта видела «бабенку в чистом белье», паралитика погрузили в купель, а когда вынули, «он прозрел на оба глаза». Дед пересказывал жития святого Лабра, всего покрытого вшами, и святой Марии Алакок, которая вылизывала языком испражнения больных. Его зубоскальство оказало мне услугу; я был тем более склонен воспарить над мирскими благами, что отродясь ими не владел, и мне ничего не стоило счесть мои необременительные лишения призванием. Мистицизм создан для тех, кто не нашел своего места в жизни, для сверхком-

плектных детей. Представь мне Шарль религию в другом свете, он толкнул бы меня на стезю веры, и я сделался бы жертвой святости. Но дед на всю жизнь внушил мне к ней отвращение. Я увидел ее глазами Шарля, и эта злобная одержимость оттолкнула меня безвкусицей своих экстазов, напугала садистским презрением к плоти: в выходках святых смысла было не больше, чем в выходке англичанина, который полез в море купаться, не снимая смокинга. Слушая анекдоты деда, бабушка прикидывалась, будто негодует, ругала мужа «нечестивцем» и «гугенотишкой», хлопала его по пальцам, но ее снисходительная улыбка окончательно отрезвляла меня. Луиза ни во что не верила, и только скептицизм мешал ей стать атеисткой. Мать остерегалась спорить, у нее был «свой собственный бог», она ничего от него не требовала — лишь бы он утешал ее втихомолку.

Все эти прения, правда в более смягченном тоне, продолжались в моем мозгу: мое второе «я», мой «двойник в черном», вяло оспаривал догматы веры. Я был разом и католик и протестант, дух критики соединялся во мне с духом повиновения. Но, в сущности говоря, все это наводило на меня смертельную скуку; я пришел к неверию не из-за

борьбы церквей, а благодаря равнодушию к этой борьбе бабушки и деда. Тем не менее вначале я верил: в ночной рубашке, преклонив колени на кровати и сложив руки, я творил перед сном молитву, хотя с каждым днем все меньше думал о боге. По четвергам мать водила меня в учебное заведение аббата Дибильдо — там вместе с другими не знакомыми мне детьми я проходил курс священной истории. Усилия деда не пропали даром: я смотрел на католических священников как на диковинных зверей. Даром, что они были духовными отцами *моей* веры, они казались мне во сто крат чуднее пасторов из-за их сутаны и безбрачия.

Шарль Швейцер уважал аббата Дибильдо, которого знал лично, — «Порядочный человек!» но антиклерикализм деда проявлял себя так явно, что я входил во двор школы, точно во вражеский стан. Лично я не питал ненависти к служителям божьим; когда они беседовали со мной, на их лицах, разутюженных святостью, появлялось ласковое выражение, умиленная благожелательность, отрешенность — все, что я привык ценить в госпоже Пикар и других пожилых дамах, друживших и музицировавших с матерью; во мне говорила ненависть деда. Ему первому пришла в

голову мысль вверить меня попечениям своего друга аббата, но он с тревогой приглядывался к маленькому католику, которого по четвергам вечером приводили домой, пытался прочесть в моих глазах, не соблазнил ли меня папизм, и не без удовольствия подтрунивал надо мной. Такое двусмысленное положение длилось всего полгода. В один прекрасный день я подал учителю сочинение о страстях господних; оно привело в восторг моих родных, и мать собственноручно сняла с него копию. Но меня удостоили только серебряной медали. Разочарование толкнуло меня на путь нечестия. Сначала по болезни, потом из-за каникул я перестал посещать занятия аббата Дибильдо, а вернувшись в город, вообще отказался ходить в его школу. После этого я еще много лет поддерживал официальные отношения со всевышним — домами мы уже не встречались. Только однажды у меня возникло чувство, что он существует. Играя со спичками, я прожег маленький коврик. И вот, когда я пытался скрыть следы своего преступления, господь бог вдруг меня увидел — я ощутил его взгляд внутри своей черепной коробки и на руках; я заметался по ванной комнате, до ужаса на виду — ну просто живая мишень. Меня выручило негодование: я

пришел в ярость от его наглой бесцеремонности и начал богохульствовать, бормоча, как мой дед: «Черт побери, будь ты проклят, черт треклятый!» С тех пор бог ни разу на меня не смотрел.

Я рассказал историю моего несостоявшегося призвания: я нуждался в боге, мне его дали, и я его принял, не поняв, что его-то я и искал. Не пустив корней в моем сердце, он некоторое время прозябал там, потом зачах. Теперь, когда меня спрашивают о нем, я добродушно посмеиваюсь, как старый волокита, встретивший былую красавицу: «Пятьдесят лет назад, не будь этого недоразумения, ошибки, нелепой случайности, которая отдалила нас друг от друга, у нас мог бы быть роман».

Но романа не получилось. Меж тем дела мои становились все плачевнее. Деда раздражали мои длинные локоны. «Это мальчик, — говорил он Анн-Мари, — а ты из него делаешь девочку. Не хочу, чтобы мой внук вырос мокрой курицей». Анн-Мари не сдавалась: по-моему, ей и в самом деле хотелось, чтобы я был девочкой. Каким счастьем было бы для нее воскресить в этой девочке свое собственное печальное детство и сделать его счастливым. Но небо не услышало ее молитв, и она нашла другой выход: мой пол, как у ангелов,

не был четко обозначен, но в нем проглядывала женственность. Ласковая сама. мать приучила меня ластиться, одиночество довершило мое воспитание, отвратив меня от буйных проказ. Однажды — мне было тогда семь лет — терпение деда лопнуло. Он взял меня за руку, объявив, что мы идем на прогулку. Но не успели мы свернуть за угол, как он втолкнул меня в парикмахерскую со словами: «Сейчас мы устроим маме сюрприз». Я обожал сюрпризы. Они у нас не переводились. Шуточные и трогательные заговоры, неожиданные подарки, перешептыванье, театральные разоблачения тайн с последующими объятиями таков был наш повседневный обиход. Когда мне надо было сделать операцию аппендицита, мать скрыла это от Карла, чтобы избавить его от волнений, которых он наверняка бы не испытал. Мой дядя Огюст дал нам денег, мы тайком уехали из Аркашона и укрылись в клинике Курбевуа. На второй день после операции Огюст явился к деду: «Я пришел сообщить тебе приятную новость». Умиленная торжественность его голоса ввела Карла в заблуждение. «Ты женишься!» — «Нет, — улыбаясь, ответил дядя, но все сошло прекрасно». «Что все?» и т. д. и т. п. Словом, театральные эффекты были у нас дежурным блюдом, и я бла-

годушно глядел, как мои локоны соскальзывают по белой салфетке, которую мне повязали вокруг шеи, и падают на пол, вдруг как-то неожиданно потускнев. Я вернулся домой торжествующий и наголо остриженный.

Раздались возгласы, но поцелуев не последовало, и мать заперлась в детской, чтобы выплакать свое горе: ее девочку подменили мальчишкой. Но главная беда была в другом — пока вокруг моей головы кудрявились локоны, мать могла скрывать от самой себя очевидность моего уродства. Меж тем мой правый глаз уже погружался во мрак. Теперь ей пришлось взглянуть в лицо правде. Да и сам дед был растерян: ему доверили свет его очей, а он привел домой жабу это подрывало основы восторгов, просветлявших его душу. Бабушка поглядывала на него с усмешкой. «Карл и сам не рад — ходит повесив нос», заметила она коротко.

По доброте душевной Анн-Мари скрыла от меня причину своего горя. Я узнал ее — самым безжалостным образом только в двенадцать лет. И все же я чувствовал себя не в своей тарелке. Я часто ловил сострадательные и озабоченные взгляды друзей дома. С каждым днем мне становилось труднее угождать публике — приходилось не

жалеть сил, я налегал на эффекты, стал переигрывать. Мне открылись терзания стареющей актрисы: я понял, что другие тоже могут иметь успех. У меня сохранилось два воспоминания, более поздних, но очень характерных.

Мне девять лет, идет дождь, в отеле Нуаретабль нас десять детей — десять волчат в одном логове. Чтобы чем-то нас занять, мой дед согласился сочинить и поставить патриотическую пьеску с десятью действующими лицами. Старшему из нашей компании, Бернару, досталась роль папаши Штрухофа, ворчуна с благородным сердцем. Я играю молодого эльзасца: мой отец избрал французское гражданство, и я тайком перехожу границу, чтобы пробраться к нему. Меня обеспечили репликой, рассчитанной па аплодисменты, я простирал правую руку, склонял голову и, уткнувшись постной физиономией в собственную подмышку, шептал: «Прощай, прощай, наш любимый Эльзас!» На репетициях мне твердили, что я неотразим, — меня это не удивляло. Премьера состоялась в саду. Стена отеля и кусты бересклета по обе стороны от нее служили границей сцены. Родители сидели в плетеных креслах. Дети веселились напропалую — все, кроме меня. Убежденный, что успех пьесы

всецело в моих руках, я из кожи лез, стараясь понравиться в интересах общего дела. Я считал, что все только на меня и смотрят, и переусердствовал — аплодисменты достались Бернару, который меньше ломался. Дошло ли это до меня? После спектакля Бернар обходил зрителей, собирая пожертвования. Я подкрался к нему сзади и дернул за бороду, она осталась у меня в руках. Это была шалость премьера, рассчитанная на всеобщий смех. Я чувствовал себя в ударе и подпрыгивал то на одной, то на другой ноге, потрясая своим трофеем. Никто не засмеялся. Мать взяла меня за руку и поспешно отвела в сторону. «Что это на тебя нашло? — спросила она с укором. — Такая красивая борода. Все ахнули от огорчения!» Тут подоспела бабушка с последними новостями: мать Бернара сказала что-то насчет зависти. «Видишь, чем кончается дело, когда вылезают вперед». Я убежал от них, заперся в комнате и, встав перед зеркалом, долго корчил рожи.

Госпожа Пикар придерживалась мнения, что детям можно читать все: «Хорошо написанная книга не может причинить вреда». Когда-то в ее присутствии я попросил разрешения прочитать «Госпожу Бовари», и мать преувеличенно мелодичным голосом ответила: «Радость моя,

но, если ты прочитаешь такие книги сейчас, что ты станешь делать, когда вырастешь большой?» — «Я их буду жить». На долю этого высказывания выпал самый неподдельный и наиболее длительный успех. Каждый раз, приходя к нам в гости, госпожа Пикар намекала на него, и польщенная мать восклицала с упреком: «Да замолчите же. Бланш, право, вы мне его испортите!» Я любил и презирал эту бледную толстую старуху — самого благодарного из моих зрителей. Как только объявляли о ее приходе, на меня нисходило вдохновение.

В ноябре 1915 года она подарила мне записную книжку в красном кожаном переплете с золотым обрезом. Деда не было дома, и мы расположились в его кабинете; женщины оживленно болтали между собой, чуть сдержанней, чем в 1914 году, потому что шла война: к окнам льнул грязно-желтый туман, воздух был пропитан застарелым табачным духом. Открыв книжицу, я был сначала разочарован. Я думал, что это роман или сказки, но на разноцветных листках обнаружил один и тот же двадцать раз повторяющийся вопросник. «Заполни его, — сказала госпожа Пикар, — и дай заполнить своим друзьям. Со временем тебе будет приятно вспомнить». Я понял, что мне предо-

ставляется возможность показать товар лицом, и решил приступить к делу немедля. Я уселся за письменный стол деда, положил книжку на его бювар, взял ручку из галалита, обмакнул в пузырек с красными чернилами и стал писать, меж тем как дамы лукаво переглядывались. В мгновение ока я взмыл выше собственной души в погоне за «умными не по годам» ответами. На беду, вопросник не помогал. Меня спрашивали, что мне нравится, что нет, какой цвет я больше всего люблю, какой запах предпочитаю. Я без увлечения сочинял себе вкусы, как вдруг представился случай блеснуть. «Каково ваше самое заветное желание?» Я ответил без колебаний: «Стать солдатом и отомстить за убитых». После этого, слишком возбужденный, чтобы продолжать, я спрыгнул с кресла и понес мое творение взрослым. Взгляды исполнились ожидания, госпожа Пикар надела очки, мать склонилась к ее плечу, губы обеих заранее сложились в улыбку. И та и другая подняли головы одновременно — мать покраснела, госпожа Пикар протянула мне книжку: «Видишь ли, дружок, это интересно, только когда отвечаешь искренне». Я готов был провалиться сквозь землю. Мой промах очевиден: мне предназначали роль вундеркинда, а я

сыграл юного героя. На мою беду, ни у одной из дам не было близких на фронте, военная героика не производила впечатления на их уравновешенные натуры. Я убежал, кинулся к зеркалу строить рожи. Теперь я понимаю, что эти гримасы были для меня отдушиной — мускульной блокадой я пытался парализовать мучительную судорогу стыда. Вдобавок гримасы доводили мой позор до высшей точки и тем самым освобождали меня от него; чтобы избежать унижения, я окунался в самоуничижение, лишал себя какой бы то ни было возможности нравиться, чтобы забыть, что она у меня была и я ею злоупотребил. Зеркало оказывало мне неоценимую помощь: я поручал ему убедить себя, что я урод. Если ему это удавалось, острый стыд уступал место жалости. Но главное, обнаружив в результате провала свою уродливость, я старался изуродовать себя, чтобы отрезать к ней все пути, чтобы отречься от людей и чтобы они от меня отреклись. Комедии добра я противопоставлял комедию зла. Иоас брал на себя роль Квазимодо. Перекашивая и морща лицо, я искажал его до неузнаваемости, вытравляя следы прошлых улыбок.

Лекарство оказалось вреднее болезни. Спасаясь от славы и бесчестия, я пытался найти прибе-

жище в одиночестве своего подлинного «я», но у меня не было «я» — в глубине своей души я обнаружил озадаченную безликость. Мне чудилась медуза. которая тычется в стекло аквариума, собирая в мягкие складки свою мантию, и тает во мраке. Спустилась ночь, чернильные облака расплылись в зеркале, заволакивая мое последнее воплощение. Лишившись алиби, я был приперт к самому себе. Я угадывал во мраке неопределенное смятение, шорох, пульсацию — существо из плоти и крови, самое жуткое из всех и в то же время единственное, которого я не боялся. Я спасся бегством, вновь вернулся к своей роли херувима не первой свежести. Но тщетно — зеркало подтвердило давно известную мне истину: мое уродство неподдельно. От этого открытия я так и не оправился.

Всеми обожаемый и никому не нужный, я оставался при пиковом интересе; в семь лет мне не на кого было надеяться, кроме как на самого себя, а меня самого еще не было — был необитаемый зеркальный дворец, в который смотрелась тоска нарождающегося века. Я родился, чтобы удовлетворить свою громадную потребность в самом себе. До какой-то минуты я пробавлялся тщеславием комнатной собачонки. Загнанный в тупик

гордости, я сделался гордецом. Раз никто *всерьез* не нуждается во мне, я решил стать необходимым всему миру. Что может быть прекраснее? Что может быть глупее? По правде говоря, у меня просто не было выбора. Путешествуя зайцем, я задремал на скамье, контролер меня растолкал. «Ваш билет!» Пришлось сознаться, что билета нет. Нет и денег, чтобы купить его. Поначалу я признавал свою вину — документы я забыл дома; на вокзале, уж не помню как, обманул контроль, — словом, я проник в вагон незаконным путем. Мне и в голову не приходило оспаривать правомочие контролера, я во всеуслышание клялся в своем уважении к его должности и заранее подчинялся его приговору. Теперь, на этой последней ступени унижения, у меня оставался единственный выход — вывернуть ситуацию наизнанку; и вот я сообщал контролеру, что тайные причины огромной важности, затрагивающие интересы Франции, а может быть, и всего человечества, требуют моего присутствия в Дижоне. Если взглянуть на дело с этой новой точки зрения, то, пожалуй, во всем поезде не найти пассажира, имеющего больше прав на проезд, чем я. Само собой, речь идет о высшем праве, противоречащем общепринятому законодательству, но, сняв меня с поезда, контролер

вызовет серьезные осложнения, ответственность за которые падет на его голову. Я заклинал его подумать, разумно ли расстроить порядок в целой вселенной ради поддержания порядка в поезде? Так рассуждает гордыня — адвокат обездоленных. Право на скромность имеют только пассажиры с билетами. Но я так и не мог понять, выиграл ли я дело. Контролер хранил молчание. Я снова принимался объяснять. Я чувствовал, что, пока я разглагольствую, меня не высадят из вагона. Так мы и продолжали свой путь — один, не открывая рта, другой, не закрывая его, в поезде, который мчал нас в Дижон. Поезд, контролер и правонарушитель — все это был я сам. У меня была еще четвертая роль — постановщика, который преследовал одну-единственную цель: забыть хоть на минуту, что он сам все это подстроил. Семейная комедия играла мне на руку: меня называли даром небес, в шутку, конечно, и я это понимал. Перекормленный чувствительностью, слезливый и черствый, я захотел стать даром, от которого есть прок. Но кому? Я предложил свои услуги Франции, всему миру. На людей мне было начхать, но, поскольку совсем обойтись без них было нельзя, я решил: пусть их восторженные слезы послужат мне знаком, что вселенная при-

нимает меня с благодарностью. Не подумайте, что я грешил самомнением, просто я рос сиротой, без отца. Ничейный сын, я был сам себе голова — предел гордости и предел обездоленности. Меня вызвал к жизни порыв к добру. Причинную связь проследить легко: изнеженный материнской лаской, обезличенный отсутствием сурового Моисея, который меня зачал, избалованный поклонением деда, я был объектом в чистом виде, обреченным прежде всего на мазохизм, если бы я хоть на минуту уверовал в семейную комедию. Но она скользила только по поверхности моей души, нетронутые глубины жаждали найти оправдание своему бытию. Я возненавидел привычную схему, стал гнушаться слюнявыми восторгами, упоением, своим заласканным, изнеженным телом, я обретал себя в противопоставлении самому себе, ударяясь в гордыню и садизм — иначе говоря, в великодушие. Подобно скупости и расизму, великодушие — это фермент, который врачует наши внутренние раны, но в конце концов приводит к отравлению организма. Пытаясь избавиться от заброшенности — участи творения, — я готовил себе самое безысходное буржуазное одиночество — участь творца. Однако не путайте это внезапное сальто с подлинным бунтом: бунтуют против

палачей, я был окружен благодетелями. Я долго оставался их сообщником. Впрочем, они сами же нарекли меня даром провидения, я лишь использовал в своих целях оружие, которым меня снабдили.

Все происходящее происходило в моем воображении; выдуманный ребенок, я отстаивал себя с помощью выдумки. Вспоминая теперь, как я жил в возрасте от шести до девяти лет, я удивляюсь постоянству моих умственных упражнений: декорации менялись — программа оставалась неизменной. Некстати выскочив на сцену, я ретировался за ширму и появлялся на свет вновь, теперь уже в самую пору, именно в то мгновение, когда мир безмолвно взывал обо мне.

Мои первые повести были простым повторением «Синей птицы», «Кота в сапогах», сказок Мориса Бушора. Они рассказывались сами собой в недрах моей черепной коробки. Но, мало-помалу осмелев, я стал вносить в них поправки, отводить роль и себе. Сказки изменили свой характер: я не любил фей, они набили мне оскомину в жизни; волшебство вытеснили подвиги. Я сделался героем. Я махнул рукой на свои чары; теперь речь шла не о том, чтобы пленять, а о том, чтобы самоутвердиться. Семью свою я отринул:

Карлимами и Анн-Мари были изгнаны из моих вымыслов. Пресытившись жестами и позами, я совершал в мечтах подлинные поступки. Я создавал воображением мир страхов и смерти — мир «Сверчка», «Ну и ну!», Поля д'Ивуа; нужду и труд, о которых я не имел понятия, я заменил опасностью. Но у меня и в мыслях не было подвергать сомнению установленный миропорядок. Уверенный, что живу в лучшем из миров, я видел свое назначение в том, чтобы избавить его от злоумышленников. Сыщик и линчеватель, я каждый вечер обрекал в жертву целую шайку бандитов. Ни карательные экспедиции, ни превентивные войны меня не прельщали; я убивал не во гневе, не ради потехи — я спасал от смерти невинных девушек. Эти хрупкие создания были мне необходимы, они взывали ко мне. Само собой, они не могли рассчитывать на мою помощь, ибо меня не знали. Но я подвергал их таким чудовищным опасностям, что вызволить их мог только один человек — я сам. Когда янычары взмахивали своими кривыми саблями, по пустыне прокатывался стон и скалы шептали пескам: «А здесь кого-то не хватает! Мы говорим о Сартре». В ту же секунду я появлялся из-за ширмы и рубил головы направо и налево, я рождался на свет в потоках

крови. О счастье булата! Я чувствовал себя на своем месте.

Но я рождался, чтобы умереть: спасенная девушка бросалась в объятия своего отца, маркграфа, а я удалялся — мне оставалось либо вновь сделаться лишним, либо искать новых убийц. Я находил. Поборник установленного порядка, я видел оправдание своего бытия в постоянных беспорядках. Задушив зло, я умирал вместе с ним и воскресал, когда оно воскресало, — я был анархистом-законником.

Мои кровавые благодеяния никак не обнаруживали себя в повседневной жизни. Я оставался угодливым и прилежным — отвыкнуть от добродетели не так-то легко. Но каждый вечер, едва дождавшись конца дневного паясничанья, я мчался в детскую и, отбарабанив молитву, нырял под одеяло — мне не терпелось обрести мою безумную отвагу. В потемках я мужал, я становился взрослым, отшельником — без отца, без матери, без роду, без племени, почти что без имени.

Вот я иду по крыше, охваченный пламенем, неся на руках бесчувственную женщину; внизу кричит толпа; сомнений нет — еще минута, и дом рухнет. В это мгновение я произносил са-

краментальные слова: «Продолжение следует». «Что ты там бормочешь?» — спрашивала мать. Я отвечал уклончиво: «Жду, что будет дальше». Я и в самом деле засыпал посреди опасностей, в самой восхитительной тревоге. На другой вечер, в назначенный час, я опять переносился на свою крышу, в огонь пожара, навстречу верной смерти. Вдруг мне в глаза бросалась водосточная труба, которую я не заметил накануне. Господи, спасены! Но как уцепиться за трубу, не выпустив драгоценной ноши? К счастью, молодая женщина приходила в чувство, я взваливал ее на спину, она обвивала руками мою шею. Нет! Поразмыслив, я снова погружал ее в обморок: как ни мала была ее роль в собственном спасении, она уменьшала мои заслуги. По счастливому совпадению, у моих ног вдруг оказывалась веревка, я накрепко привязывал бедную жертву к ее спасителю, остальное было делом минуты. Отцы города — мэр, начальник полиции, брандмейстер — обнимали меня, целовали, награждали медалью, я терял уверенность в себе, не знал, что с собой делать дальше: объятия этих именитых граждан слишком смахивали на объятия деда. Я зачеркивал все, начинал сначала: ночь, молоденькая девушка зовет на помощь, я бросаюсь в

гущу драки… *Продолжение следует*. Я рисковал жизнью ради великой минуты, которая должна была превратить зверька, рожденного случаем, в посланца провидения, но чувствовал, что мне не пережить своей победы, и был рад возможности отложить ее на завтра.

Не странно ли, что маленький школяр, обреченный духовному сану, предавался мечтам головореза? Неужели я никогда не мечтал стать врачом-героем, спасающим своих сограждан от бубонной чумы или холеры? Покаюсь — никогда. Меж тем я не был ни кровожадным, ни воинственным, и не моя вина в том, что рождающийся век настроил меня на эпический лад. Разгромленная Франция кишела воображаемыми героями, подвиги которых врачевали ее самолюбие. За восемь лет до моего рождения ростановский Сирано де Бержерак «разорвал тишину призывом боевой трубы». Чуть позже гордый и страдающий Орленок своим появлением заставил забыть о Фашоде[3]. В 1912 году я понятия не имел об этих героических персонажах, но неустанно общался с их эпигонами: я обожал Сирано уголовников — Арсена Люпена, не подозревая, что своей испо-

[3] Примечания: 3

Город в Судане, завоеванный в 1898 году французами и впоследствии отнятый у них англичанами.

линской силой, насмешливой отвагой, истинно французским складом ума он был обязан тому, что в 1870 году мы сели в лужу. Национальная агрессивность и дух реванша превращали всех детей в мстителей. Я стал мстителем, как и все: завороженный зубоскальством и рисовкой — несносными пороками побежденных, — я высмеивал своих врагов, прежде чем выпустить им кишки. Но войны наводили на меня скуку; мне нравились незлобивые немцы, приходившие в гости к деду, и меня волновали только несправедливости в частной жизни. В моем сердце, лишенном ненависти, коллективные веяния претерпевали изменения — я вскармливал ими свой индивидуальный героизм. Но так или иначе на мне лежало клеймо — я был внуком поражения, потому-то я так нелепо ошибся и в наш железный век принял жизнь за эпопею. Убежденный материалист, я до конца дней буду искупать своим эпическим идеализмом оскорбление, которого не испытал, стыд, которого не изведал, утрату двух провинций, которые нам давным-давно возвращены.

Буржуа минувшего столетия всю жизнь хранили воспоминание о первом посещении театра, и их современники писатели считали своим

долгом увековечить эту минуту во всех подробностях. Вот поднимается занавес, и детям кажется, что они попали во дворец. Золото, пурпур, огни, румяна, патетика и бутафория обожествляют все — даже преступления. Сцена воскрешает перед ними аристократию, которую их собственные деды отправили на тот свет. В антрактах ярусы зрительного зала наглядно демонстрируют детям общественную иерархию — в ложах им показывают обнаженные плечи и живых дворян. Они возвращаются домой потрясенные, раскисшие, исподволь подготовленные к социальному церемониалу, к тому, чтобы стать Жюлями Фаврами, Жюлями Ферри, Жюлями Греви. Но пусть кто-нибудь из моих сверстников назовет день своего первого знакомства с кинематографом. Мы не заметили, как вступили в новый век, век, не имеющий традиций, которому суждено было перещеголять своими дурными манерами все минувшие эпохи, и новое искусство, искусство простонародья, предвосхищало этот век варварства. Родившееся «на дне», зачисленное начальством в разряд ярмарочных увеселений, оно держалось простецки, шокируя солидных граждан; это было развлечение для женщин и детей. Мы с матерью его обожали, но никогда

об этом не думали и не говорили — кто станет говорить о хлебе, когда в нем нет нехватки? Мы осознали существование кинематографа лишь тогда, когда он уже давным-давно стал нашей насущной потребностью.

В дождливую погоду Анн-Мари спрашивала меня, куда бы я хотел пойти; мы долго колебались между цирком, театром Шатле, Павильоном электричества и Паноптикумом; в последнюю минуту мы с продуманной небрежностью решали отправиться в кино. Однако стоило нам открыть парадную дверь, как на пороге своего кабинета появлялся Шарль: «Куда вы, дети?» — «В синематограф», — отвечала мать. Дед хмурился, мать торопливо добавляла: «Это в „Пантеоне“, в двух шагах от дома, только перейти улицу Суффло». Дед отпускал нас, пожав плечами. В ближайший четверг он говорил господину Симонно: «Вы человек разумный, Симонно, ну что вы на это скажете — дочь водит моего внука в кино!» И господин Симонно отвечал примирительно: «Сам я там никогда не был, но жена иногда ходит».

Мы обычно приходили после начала сеанса. Спотыкаясь, ощупью брели за билетершей. Я чувствовал себя заговорщиком: над нашей головой зал пронизывал сноп белых лучей, в нем плясала

пыль, табачный дым; пианино ржало, на стенах светились фиолетовые груши, у меня перехватывало дыхание от запаха лака и дезинфекции. Запах и плоды этого мрака, населенного людьми, смешивались в моих ощущениях: я сосал фиолетовые лампочки, ощущал во рту их кисловатый привкус. Обтерев спиной чужие колени, я взбирался на скрипучий стул, мать подкладывала под меня сложенное одеяло, чтобы мне было виднее, и только тогда я бросал взгляд на экран, на струящееся меловое пятно, на мигающие пейзажи, иссеченные ливнями — дождь лил не переставая, даже при самом ярком солнце, даже в комнатах; иногда огненный астероид перелетал вдруг через гостиную какой-нибудь баронессы, на лице которой не выражалось при этом ни малейшего удивления. Мне нравился этот дождь, эта безостановочная суета, тревожившая стену. Тапер брал первые аккорды «Фингаловой пещеры», и всем становилось ясно, что с минуты на минуту появится преступник — баронесса была ни жива, ни мертва от страха. Но вместо ее прекрасного, в черных подтеках лица появлялась вдруг лиловая надпись: «Конец первой части». Мгновеннное отрезвление. Свет. Где я? В школе? В присутственном месте? Никаких украшений

— ряды откидных стульев, с нижней стороны которых видны пружины; стены, выкрашенные охрой; пол в плевках и окурках. Зал наполнялся глухим шумом, зрители заново обретали дар речи, билетерша громко предлагала леденцы, мать покупала мне конфеты, я совал их в рот, на языке таяли фиолетовые лампочки. Люди протирали глаза, каждый впервые замечал соседей. Солдаты, няньки с ближних улиц; какой-то костлявый старик шикает — простоволосые фабричные работницы слишком громко смеются. Все это люди не нашего круга; к счастью, кое-где на почтительном расстоянии друг от друга над этим партером голов успокоительно колышутся пышные шляпы.

Моему покойному отцу, моему деду — завсегдатаям лож первого яруса — социальная иерархия театра привила вкус к определенному церемониалу: в местах большого скопления людей необходимо воздвигать между ними ритуальные барьеры, не то они перережут друг другу горло. Кинематограф доказывал нечто прямо противоположное: казалось, не празднество, а скорее бедствие объединяет эту на диво разношерстную толпу. Этикет отмер, и обнажилась наконец подлинная связь людей, их спаянность. Я воз-

ненавидел церемонии, я обожал толпу. Какие только толпы ни пришлось мне видеть на моем веку, но эту обнаженность, это безотказное общение каждого со всеми, этот сон наяву, это смутное сознание того, что быть человеком опасно, мне пришлось наблюдать потом только однажды — в 1940 году в лагере для военнопленных XII Д.

Постепенно осмелев, мать стала водить меня в кинотеатры Больших Бульваров: «Синераму», «Фоли-Драматик», «Водевиль», «Гомон-Палас», который в ту пору назывался «Ипподромом». Я посмотрел «Зигомара» и «Фантомаса», «Приключения Мациста», «Тайны Нью-Йорка». Позолота отравляла мне удовольствие — «Водевиль», разжалованный из театров в иллюзионы, не желал расставаться с былым великолепием. До самой последней минуты красный занавес с золотыми кистями скрывал от зрителей экран; о начале сеанса возвещали тремя ударами, оркестр исполнял увертюру, занавес поднимался, лампы гасли. Меня злил этот неуместный церемониал, вся эта нафталинная роскошь, которая только отдаляла персонажей от зрителей. Наши отцы, посетители ярусов и галерки, подавленные блеском люстр, росписями потолка, не могли и не хотели верить, что театр принадлежит им — они были в

нем гостями. Я хотел быть *как можно ближе* к фильму. Уравниловка неуютных кинотеатров нашего квартала приучила меня к мысли, что это новое искусство принадлежит мне, как и всем. По умственному развитию мы были однолетки: мне было семь, и я умел читать, ему — двенадцать, и оно не умело говорить. Существовало мнение, что оно делает только первые шаги, что у него большое будущее; я считал, что мы будем расти вместе. Я не забыл нашего общего детства: когда меня угощают леденцами, когда женщина в моем присутствии покрывает ногти лаком, когда в уборной какой-нибудь провинциальной гостиницы пахнет дезинфекцией, когда ночью в вагоне я гляжу на фиолетовый ночник на потолке, зрением, обонянием, вкусом я ощущаю свет и запахи давно исчезнувших кинозалов; четыре года назад, попав в шторм на широте Фингаловых пещер, я услышал в вое ветра звуки пианино.

Нечувствительный к священнодействию, я обожал колдовство; кинематограф был темной личностью, и я испытывал к нему извращенное влечение, любя в нем его тогдашнее несовершенство. В этом мерцании было все и ничего, все, сведенное к ничему; я присутствовал при конвульсиях стены, твердые тела лишались сво-

ей массивности, того, что тяготило меня даже в моем собственном теле, и эта способность к бесконечному уплощению льстила моему юному идеализму; впоследствии перенос и вращение треугольников напомнили мне скольжение лиц на экране — даже в планиметрии я любил кино. Черное и белое стали для меня главными цветами, они вбирали в себя все остальные, но открывали их только посвященным. Меня пленяла возможность видеть невидимое. Но больше всего я любил неизлечимую немоту моих героев. Впрочем, нет, они не были немы, поскольку умели выразить свои чувства. Мы общались посредством музыки, это был отзвук их внутренней жизни. Оскорбленная невинность источала музыку, я проникался горем жертвы сильнее, чем если бы она говорила и объясняла. Я читал реплики, но слышал надежду и отчаяние, ловил ухом горделивое страдание, которое не высказывается в словах. Я был соучастником: на экране плачет молодая вдова, *это не я*, и все же у нас одна душа — похоронный марш Шопена, и вот уже мои глаза наполняются ее слезами. Не умея предсказывать, я чувствовал себя пророком: предатель еще не предал, а я уже полон его преступлением, в замке с виду все спокойно,

но зловещие аккорды говорят о присутствии убийцы. Как я завидовал этим ковбоям, мушкетерам, полицейским — их будущее было здесь, в этой многозначительной музыке, оно правило настоящим. Неумолчная мелодия, сливаясь с их жизнью, влекла их к победе или к смерти, стремясь в то же время к своему собственному концу. Их-то действительно ждали, этих героев: ждала девушка, которой грозила опасность, ждал военачальник, ждал предатель, притаившийся в лесной засаде, ждал связанный друг, печально глядя, как язычок пламени бежит по фитилю к бочонку с порохом. Бег пламени, отчаянная борьба девственницы с насильником, скачка героя по степи, перекрестное мелькание всех этих образов, вся эта гонка и откуда-то из преисподней стремительная мелодия «Скачки в пропасть» — оркестрового отрывка из «Осуждения Фауста» в переложении для фортепьяно, — все это сливалось в одно: судьбу. Герой соскакивал с коня, гасил фитиль, предатель бросался на него, начинался поединок на ножах; но даже сами случайности этого поединка неукоснительно подчинялись развитию музыкальной темы —это были лжеслучайности, за которыми явственно ощущался всемирный порядок. Вот здорово было,

когда последний удар ножа совпадал с последним аккордом! Я был на седьмом небе, я нашел мир, в котором хотел бы жить, я приближался к абсолюту. И как было обидно, когда вспыхивал свет! Я исходил любовью к этим героям, а они скрывались, унося свой мир с собой; я чувствовал их победу каждой клеткой своего существа, и все же это была их победа, а не моя — на улице я вновь обретал свою неприкаянность.

Я решил отказаться от слова и жить в музыке. Эта возможность представлялась мне каждый вечер около пяти. У деда в эти часы были занятия в институте, бабушка читала в своей комнате роман графини Жип, мать, накормив меня полдником, распорядившись насчет обеда и дав последние наставления служанке, садилась за рояль и играла баллады Шопена, сонату Шумана, симфонические вариации Франка, а иногда, по моей просьбе, «Фингалову пещеру». Я проскальзывал в кабинет деда. Смеркалось, на рояле горели две свечи. Полумрак был мне на руку, я вооружался дедовой линейкой — это была моя рапира, его разрезным ножом — моим кинжалом, и мгновенно превращался в плоскостное изображение мушкетера. Иногда вдохновение нисходило не сразу; чтобы выиграть время, я,

знаменитый дуэлянт, решал, что некая важная причина заставляет меня хранить инкогнито. Мне приходилось получать удары, не отмщая, и, призвав на помощь все свое мужество, прикидываться трусом. Я слонялся по комнате, волоча ноги, понурив голову и глядя исподлобья; время от времени я вздрагивал, изображая таким образом, что получил пощечину или пинок в зад, но я и не думал давать сдачи — я запоминал имя обидчика. Наконец лошадиная доза музыки начинала оказывать свое действие. Словно шаманский барабан, рояль навязывал мне свой ритм, фантазия-экспромт вытесняла мою душу, вселялась в меня, одаривая таинственным прошлым и головокружительным, смертельно опасным будущим; я был одержим, бес, завладевший мной, сотрясал меня, как сливовое деревцо. В седло! Я был конем и конником, пришпоривал и чувствовал шпоры, я мчался по ландам и прериям, по кабинету деда от дверей к окнам. «Ты слишком шумишь, соседи будут жаловаться», — говорила, не переставая играть, Анн-Мари. Я не отвечал, поскольку был нем. Вот передо мной герцог, я соскакиваю с коня; беззвучно шевеля губами, даю ему понять, что он ублюдок. Он бросает против меня своих рейтаров, но моя шпага ограждает

меня, как крепость! Время от времени я пронзаю очередную грудь и тут же, повернувшись на сто восемьдесят градусов, превращаюсь в зарубленного наемника, падаю и умираю на ковре. Потом, тихонько выбираясь из трупа, встаю и возвращаюсь к своей роли странствующего рыцаря. Я играл все роли сразу: рыцарь, я даю пощечину герцогу — поворачиваюсь кругом и — герцог, получаю пощечину. Однако я не любил долго оставаться в шкуре злодея, мне не терпелось вернуться к героической заглавной роли, к самому себе. Не ведая поражений, я одолевал всех. Но, так же как и в ночных моих приключениях, я откладывал свое торжество в долгий ящик из страха перед неприкаянностью, которую оно потянет за собой.

Я защищаю юную графиню от посягательств родного брата короля. Ну и резня! Но вот мать перевернула ноты: аллегро сменилось лирическим адажио, я наскоро заканчиваю кровопролитие и улыбаюсь своей подопечной. Она меня любит, об этом свидетельствует музыка. Я тоже, как видно, ее люблю: в моей груди рождается влюбленное, томное сердце. Что делают, когда любят? Я беру ее за руку, гуляю с ней по лугу, но этого явно недостаточно. Приходится спешно прибегать к

наемникам и проходимцам, они выводят меня из затруднительного положения — бросаются на нас, сто против одного; девяносто головорезов я убиваю, оставшиеся десять похищают графиню.

Самая пора вступить в мрачную полосу моей жизни — женщина, которая меня любит, в плену, вся королевская полиция преследует меня по пятам, я вне закона, я гоним, я отвержен, у меня не осталось ничего, кроме незапятнанной совести и шпаги. С несчастным видом я меряю шагами кабинет, впитывая в себя страстную печаль Шопена. Иногда я наспех перелистываю свою жизнь, забегая года на два-три вперед, чтобы увериться, что все кончится хорошо — мне вернут мои титулы, поместья, мою невесту, почти столь же непорочную, и король будет просить у меня прощения. Но тут же, одним махом перескочив на два-три года назад, я опять впадаю в ничтожество. Я обожал эту минуту. Вымысел сливался с действительностью: несчастный скиталец, странствующий в поисках справедливости, как двойник походил на неприкаянного, тяготящегося самим собой ребенка — в поисках права на существование он под музыку слонялся по кабинету деда. Не выходя из роли, я пользовался этим сходством, чтобы сплавить воедино наши

судьбы; уверенный в конечной победе, я усматривал в своих злоключениях кратчайший путь к ней, сквозь нынешнее прозябание я провидел грядущую славу, ради нее-то и надо было пройти через горнило бед. Соната Шумана окончательно укрепляла меня в этой уверенности: я был отчаявшаяся божья тварь, и я же был господь бог, от сотворения мира спасший ее. Как приятно впадать в безнадежное отчаяние, это дает право дуться на весь мир. Сытый по горло слишком легким успехом, я вкушал прелесть меланхолии, терпкую сладость обид. Предмет нежнейших забот, пресыщенный, лишенный желаний, я окунался в воображаемые страдания; восемь лет благополучия привили мне вкус к мученичеству. Моих повседневных судей, чрезмерно ко мне расположенных, я заменял неумолимым трибуналом, готовым осудить меня, не выслушав; у него-то я и хотел вырвать оправдательный приговор, почет, лавровый венец. Двадцать раз я самозабвенно перечитывал историю Гризельды; однако сам я не любил страдать, а первые мои желания отличались жестокостью. Защитник бесчисленных принцесс без стеснения воображал, как порет маленькую соседку по дому. В истории Гризельды, отнюдь не похвальной,

меня привлекал садизм пострадавшей и ее неколебимая добродетель, которая в конце концов вынуждает палача-мужа склониться перед ней. Вот в этом-то и состояла моя заветная мечта: поставить судей на колени, заставить воздать мне почести и тем самым покарать их за предвзятость. Но я каждый день откладывал вынесение оправдательного приговора. Герой завтрашней победы, я изнывал в ожидании триумфа и неизменно от него увиливал.

Мне кажется, что в этой двойной меланхолии, неподдельной и наигранной, выражалось мое разочарование: мои подвиги, нанизанные один на другой, были цепью случайностей. Когда замирали последние аккорды Фантазии-экспромта, я вновь возвращался к лишенному прошлого летосчислению сирот, которым не хватает отцов, и странствующих рыцарей, которым не хватает сирот. Герой или школьник, я оставался в замкнутом кругу одних и тех же подвигов, одних и тех же диктовок, я бился о стенку своей тюрьмы — повторения. Но ведь все-таки будущее существовало — мне это открыл кинематограф. Я мечтал иметь свое жизненное назначение. В конце концов упрямая безответность Гризельды мне надоела; сколько я ни откладывал на неопределенный

срок историческую минуту моего торжества, мне не удавалось превратить ее в подлинную будущность, она оставалась отсрочкой настоящего.

Именно в это время — не то в 1912, не то в 1913 году — я прочитал роман Жюль Верна «Мишель Строгов». Я плакал от радости — вот это судьба! Офицеру Строгову не приходилось ждать прихоти разбойников, чтобы проявить свою доблесть. Приказ свыше извлек его из безвестности, вся его жизнь была повиновением этому приказу, и он умирал в минуту торжества, ибо слава была его смертью; переворачивалась последняя страница книги, и за живым Мишелем захлопывалась дверь маленького склепа с золотым обрезом. Ни тени сомнения — его бытие было оправдано с первой минуты. Никаких случайностей — правда, он непрерывно перемещался в пространстве, но соображения государственной важности, мужество героя, бдительность врагов, природные условия данной местности, средства сообщения, десятки других факторов — все заранее известные — позволяли в любую минуту определить его местопребывание на карте. Ни единого намека на повторение — все менялось. Мишелю самому приходилось все время меняться, его предначертание указывало ему дорогу, у него была

путеводная звезда. Три месяца спустя я перечитал роман с тем же восторгом; самого Мишеля я не любил, для меня он был слишком благонравен, но я завидовал его судьбе. Меня восхищал христианин, скрытый в нем, — мне им стать не дали. Самодержец всероссийский был богом-отцом. На Мишеля, особым приказом извлеченного из небытия, как на всякую божью тварь, была возложена ответственная и неповторимая миссия. Он прошел по нашей юдоли скорби, отметая соблазны и преодолевая препятствия, вкусив мученичества и удостоившись помощи свыше! Он славил своего создателя и, доведя дело до победного конца, вступил в бессмертие. Книга эта стала для меня отравой — выходит, на свете есть избранники? Высочайшая необходимость прокладывает им путь. Святость мне претила — в Мишеле Строгове она привлекла меня только потому, что прикинулась героизмом.

Тем не менее я разыгрывал свои прежние пантомимы, а идея миссии висела в воздухе бестелесным призраком, который мне не удавалось облечь плотью, но от которого я не мог отделаться. Нечего и говорить, что мои статисты, короли Франции, готовые к услугам, ждали только моего знака, чтобы в свою очередь потребовать услуг

от меня. Но я медлил. Если ты рискуешь жизнью из верноподданнических чувств, при чем здесь великодушие? Марсель Дюно, боксер со стальными кулаками, каждую неделю приводил меня в восторг, походя совершая подвиги, которые выходили за рамки его обязанностей. А Мишель Строгов, ослепший, покрытый славными ранами, всего лишь выполнял свой долг. Я восхищался его мужеством и осуждал его смирение: выше этого храбреца было только небо, зачем же он клонил голову перед царем? Царю бы целовать землю под ногами Мишеля. Но не признав чьего-то превосходства над собой, от кого получить мандат на существование? Это противоречие загоняло меня в тупик. Иногда я пытался обойти препятствие — до меня, безвестного ребенка, доходили слухи об опасной миссии. Я бросался к ногам короля, умоляя доверить ее мне. Он отказывал — я слишком молод, задача слишком трудна. Тогда, встав с колен, я вызывал на дуэль и одного за другим побеждал всех его военачальников. Король сдавался: «Ну что ж, раз ты этого хочешь, ступай!» Но моя уловка меня не успокаивала, я понимал, что сам навязываю себя. Вдобавок коронованные болванчики внушали мне отвращение — я был санкюлот, цареубийца, дед настроил

меня против всех тиранов вообще, будь то Людовик XVI или Баденге[4]. И главное, я каждое утро проглатывал в «Ле Матен» очередной отрывок из романа Мишеля Зевако. Этот ловкий подражатель Гюго изобрел республиканский вариант романа плаща и шпаги. Его герои представляли народ, они создавали и крушили империи, с XIV века предсказывали французскую революцию, по доброте душевной защищали малолетних и безумных королей от их министров, били по морде королей-злодеев. Властителем моих дум стал самый великий из этих героев — Пардальян. Сколько раз, бывало, подражая ему, я петушился, важно расставив свои тонкие ножки, и раздавал пощечины Генриху III и Людовику XIII. Как же я мог после этого — повиноваться их приказам? Короче говоря, мне не удавалось ни извлечь из самого себя мандат, который оправдал бы мое существование на сей земле, ни признать за кем-нибудь другим право мне его выдать. Я снова седлал своего коня, нехотя изнывал в сражениях; рассеянный убийца, ленивый великомученик, я оставался Гризельдой за неимением царя, бога или самого обыкновенного отца.

---

[4] Примечания: 4
Баденге — презрительное прозвище Наполеона III.

Я вел двойную жизнь, в равной мере фальшивую: на людях я был паяцем — пресловутый внук знаменитого Шарля Швейцера; наедине с собой я погрязал в воображаемых обидах. Мнимую славу я уравновешивал мнимой безвестностью. Мне ничего не стоило перейти от одной роли к другой. В ту минуту, когда я собирался поразить врага, в замке поворачивался ключ, руки матери, словно парализованные, застывали на клавишах, я клал линейку в шкаф и повисал на шее деда. Я пододвигал ему кресло, подавал шлепанцы на меху и расспрашивал о том, что произошло за день в институте, называя по имени всех его учеников. Как бы я ни был увлечен своими вымыслами, нечего было опасаться, что я потеряю голову. Мне грозило другое: моим реальным «я» могло навсегда остаться чередование обманов.

Но была и другая реальность: на площадках Люксембургского сада играли дети, я подходил к ним ближе, они пробегали в двух шагах, не замечая меня; я смотрел на них глазами нищего — сколько в них было силы и ловкости, как они были прекрасны. В присутствии этих героев из плоти и крови я терял свой «ум не по годам», свои универсальные познания, атлетическую мускулатуру и сноровку опытного дуэлянта.

Прислонившись к дереву, я ждал. По первому бесцеремонному оклику главаря их ватаги: «Иди сюда, Пардальян, ты будешь пленником», — я отказался бы от всех своих привилегий. Меня осчастливила бы даже роль статиста, я с восторгом согласился бы играть раненого на носилках, даже труп. Но мне этого не предложили: я встретил своих истинных судей — сверстников и ровней, и их равнодушие вынесло мне обвинительный приговор. Я не мог опомниться, увидев, кем был в их глазах: не чудо природы, не медуза, а просто никому не интересный замухрышка. Моя мать не могла скрыть негодования; эта рослая красавица легко мирилась с тем, что я коротыш. Она считала это вполне естественным: Швейцеры крупные, Сартры маленькие. Я пошел в отца, что тут особенного. Ей даже нравилось, что я и в восемь лет остался портативным и удобным в пользовании, мой карманный формат сходил в ее глазах за продленное младенчество. Но, когда она видела, что никто не приглашает меня играть, любовь подсказывала ей, что я могу вообразить, будто я карлик — хотя я все-таки не карлик, — и буду страдать. Желая спасти меня от отчаяния, она с напускным раздражением говорила: «Чего ты ждешь, дуралей? Скажи, что ты хочешь по-

играть с ними». Я мотал головой: я принял бы самые унизительные поручения, но гордость мешала мне их выпрашивать. Мать предлагала мне: «Хочешь, я поговорю с их мамами?» Мамы сидели с вязаньем в садовых креслах. Но я умолял ее не делать этого; она брала меня за руку, и мы брели от дерева к дереву, от одной кучки детей к другой, неизменные просители, неизменно отверженные. В сумерках я вновь обретал свой насест, горные высоты, где парил дух, свои грезы; за неудачи я вознаграждал себя дюжиной детских пророчеств и убийством сотни наемников. И все-таки что-то у меня не клеилось.

Спас меня дед: сам того не желая, он толкнул меня на стезю нового обмана, который перевернул мою жизнь.

ПИСАТЬ
(пер. Л. Зониной)

Шарль Швейцер никогда не мнил себя писателем, но французским языком не уставал восхищаться и сейчас еще, на семидесятом году жизни. Выученный с трудом, этот язык так и не стал для него родным; дед играл им, каламбурил, смаковал каждое слово, и его безжалостный выговор не давал пощады ни единому слогу. На досуге перо деда вывязывало словесные гирлянды. Он любил отмечать события семейной и школьной жизни произведениями на случай: новогодними пожеланиями, поздравлениями к рождениям и свадьбам, рифмованными речами ко дню Карла Великого, пьесками, шарадами, буриме, милыми пошлостями; на ученых конгрессах импровизировал четверостишия, немецкие и французские.

В начале лета, еще до того, как у деда кончались занятия, мы — обе женщины и я — уезжали в Аркашон. Он писал нам три раза в неделю: две страницы — Луизе, постскриптум — Анн-Мари, мне — целое письмо в стихах. Чтобы я оценил свое счастье сполна, мать изучила правила про-

содии и объяснила их мне. Кто-то увидел, как я пыхчу над ответными стихами, на меня нажали, заставили дописать, помогли. Отправив письмо, обе женщины хохотали до слез, воображая, как остолбенеет адресат. Обратная почта принесла мне похвальное слово в стихах. Я ответил стихами. Это вошло в привычку, между дедом и внуком протянулась еще одна нить: подобно индейцам или монмартрским сутенерам, мы объяснялись между собой на языке, недоступном для женщин. Мне подарили словарь рифм, я сделался стихотворцем; я посвящал мадригалы Веве, белокурой девочке, которая была прикована к креслу и через несколько лет умерла. Девочка — ангельская душа — плевала на них, но восхищение широкой публики вознаграждало меня за ее равнодушие. Некоторые из этих стихов сохранились. «Все дети гениальны, кроме Мину Друэ», — сказал Кокто в 1955 году. В 1912 гениальны были все, кроме меня. Я обезьянничал, выполнял ритуал, корчил из себя взрослого, но прежде всего я писал потому, что был внуком Шарля Швейцера. Я прочел басни Лафонтена и остался недоволен: автор чувствовал себя слишком вольготно; я решил переписать басни александрийским стихом. Задача была мне не по плечу, к тому же я заметил, что

надо мной посмеиваются; на этом мои поэтические опыты кончились. Но толчок был дан — я обратился от стихов к прозе, без труда перелагая захватывающие приключения, вычитанные в «Сверчке». И в самое время — я обнаружил тщету своих грез. Бег моей фантазии был погоней за действительностью. Когда мать, не поднимая глаз от нот, спрашивала: «Что ты делаешь, Пулу?» — я отвечал иногда, нарушая обет молчания: «Кино». В самом деле я пытался исторгнуть образы из своей головы и *воплотить* их во вне, среди всамделишной мебели и всамделишних стен, вернуть им ослепительность, зримость образов, струившихся по экрану. Напрасно, я уже заметил, что тешу себя двойным обманом: играю роль актера, играющего героя.

Я принимался писать и тут же откладывал перо, счастье переполняло меня. Обман оставался обманом, но я говорил уже, что считал слова сутью вещей. Ничто не волновало меня больше, чем мои собственные каракули, в которых сквозь смутное мерцание блуждающих огней мало-помалу проступала тусклая вещность: воображаемое воплощалось. Схваченные капканом поименования, львы, военачальники Второй империи, бедуины вторгались в столовую и

оставались в ней пленниками навечно, обретя плоть в знаках; я поверил, что в закорючках, нацарапанных моим стальным пером, вымысел обращается в действительность. Я попросил тетрадь, пузырек лиловых чернил, написал на обложке: «Тетрадь для романов». Завершив первый, я озаглавил его: «Ради бабочки». В поисках редкостной бабочки некий ученый с дочерью и молодой путешественник атлетического сложения поднимаются к верховьям Амазонки. Фабула, персонажи, детали приключений, даже заглавие — все было заимствовано из рассказа в картинках, напечатанного в очередном выпуске «Сверчка». Преднамеренный плагиат окончательно избавлял меня от сомнений: я ничего не выдумываю — стало быть, все чистая правда. На опубликование я не претендовал, хитрость состояла в том, что я был издан заранее и не писал ни строчки без поручительства образчика. Считал ли я себя копиистом? Нет, я считал себя оригинальным писателем: я ретушировал, подновлял; я позаботился, к примеру, о том, чтоб изменить имена персонажей. Благодаря этим легким сдвигам я уже не отличал воображение от памяти. Новые и в то же время уже однажды написанные фразы перестраивались у меня в голове со стре-

мительной неотвратимостью, которую обычно приписывают вдохновению. Я воспроизводил их, они на глазах обретали вещную плотность. Если, как принято думать, писателем во власти вдохновения движет кто-то иной из самых глубин его существа, то я познал вдохновение между семью и восемью годами.

Я никогда не поддавался полностью обману «автоматического письма». Но эта игра мне нравилась: единственный ребенок в семье, я мог играть в нее один. Иногда рука моя останавливалась, я изображал сомнение: нахмурив лоб, вперив взор в пространство, я ощущал себя *писателем*. Плагиат я, впрочем, обожал из снобизма и, как далее будет видно, намеренно доводил его до крайности.

Буссенар и Жюль Верн никогда не упускают случая просветить читателя: в самый напряженный момент они обрывают нить повествования и принимаются описывать ядовитое растение или туземное жилище. Читая, я перескакивал эти познавательные экскурсы; творя, я начинял ими до отказа свои романы. Я стремился сообщить современникам все, чего не знал сам: каковы нравы туземцев острова Фиджи, африканская флора, климат пустыни. Разлученные волей судеб, за-

тем, сами того не ведая, оказавшись на одном корабле, жертвы одного и того же кораблекрушения, собиратель бабочек и его дочь цепляются за один спасательный круг, поднимают головы и одновременно испускают крик: «Дэзи!», «Папа!» Увы, неподалеку в поисках свежего мяса рыщет акула, она приближается, ее брюхо белеет в волнах. Несчастные, спасутся ли они от смерти? Я отправлялся за томом «А — Бу» большого Ларусса; с трудом дотащив его до пюпитра, открывал на соответствующей странице и, начав с красной строки, переписывал слово в слово: «Акулы распространены в тропической Атлантике. Эти крупные морские рыбы отличаются большой прожорливостью, достигают тринадцати метров в длину и восьми тонн веса…» Не торопясь, я списывал статью; я чувствовал себя пленительно скучным, пристойным, как Буссенар, и, еще не найдя средств для спасения героев, таял от изысканного восторга.

Все шло к тому, чтоб и это мое занятие превратилось в очередную комедию. Мать не скупилась на поощрения. Она вводила гостей в столовую, чтоб застигнуть врасплох юного творца над школьным пюпитром; я делал вид, что с головой ушел в работу и не замечаю восхищенных зрите-

лей; они выходили на цыпочках, шепча: «Ах, как мил! Ах, что за прелесть!» Дядя Эмиль подарил мне маленькую пишущую машинку, которой я не пользовался, госпожа Пикар купила карту полушарий, чтобы я мог безошибочно пролагать маршруты моим кругосветным путешественникам. Анн-Мари переписала мой второй роман «Торговец бананами» на веленевой бумаге и давала его читать знакомым. Даже Мами поощряла меня. «Он по крайней мере хорошо себя ведет, — говорила она, — не шумит». К счастью, посвящение в сан было отсрочено из-за недовольства деда.

Карл никогда не одобрял моего пристрастия к тому, что он именовал «чтивом». Когда мать сообщила ему, что я начал писать, он сперва пришел в восторг, рассчитывая, как я полагаю, на некую хронику нашей семьи, полную пикантных наблюдений и восхитительных наивностей. Взяв мою тетрадь, он перелистал ее, поморщился и вышел из столовой, раздосадованный тем, что я «несу чушь», подражая своим бульварным любимцам. После этого он утратил интерес к моему творчеству. Мать, уязвленная, пыталась несколько раз как бы ненароком заставить его почитать «Торговца бананами». Она выжидала

минуту, когда дед наденет шлепанцы и усядется в кресло; и вот пока он, уставясь в одну точку жестким взглядом, сложа руки на коленях, безмолвно предавался отдыху, она брала мою рукопись, рассеянно листала ее, потом, как бы невольно, начинала смеяться вслух. Наконец, не в силах противиться внезапному порыву, протягивала ее деду: «Ну, почитай, папа! Это *так* забавно». Он отстранял тетрадь, а если и заглядывал в нее, то лишь для того, чтобы досадливо подчеркнуть орфографические ошибки. Кончилось тем, что мать совсем оробела: не смея меня хвалить и боясь задеть, она перестала читать мои произведения, чтобы вовсе не говорить о них со мной.

Моя литературная деятельность, которую замалчивали и едва терпели, стала полулегальной; тем не менее я упорно предавался ей: в перерывах между уроками, в четверг и воскресенье, на каникулах или в постели, если мне, по счастью, случалось заболеть. Помню блаженные дни выздоровления, черную тетрадь с красным обрезом, которая была у меня всегда под рукой, точно рукоделие. Я стал реже «делать кино»: романы заменили мне все. Короче, я писал для собственного удовольствия.

Интриги моих романов усложнились, я вводил

в них разнохарактерные эпизоды, валил в этот винегрет без разбору все, что читал, дурное и хорошее. Повествование от этого страдало, но была и польза: вынужденный придумывать связки, я уже не мог обойтись одним плагиатом. К тому же я стал раздваиваться. В прошлом году, «делая кино», я играл самого себя, я бросался очертя голову в воображаемое, и мне не раз казалось, что я полностью растворился в нем. Теперь я, писатель, был одновременно и героем, я проецировал в героя свои эпические грезы. И все же нас было двое: у него было другое имя, я говорил о нем в третьем лице. Вместо того чтобы сливаться с ним в каждом движении, я словами лепил ему тело и как бы видел его со стороны. Неожиданное «остранение» могло бы ужаснуть меня — оно меня пленило; я наслаждался тем, что могу быть ИМ, тогда как он — не вполне я. Он был куклой, покорной моим капризам, я мог подвергнуть его испытаниям, пронзить ему грудь копьем, а потом ухаживать за ним, как мать ухаживала за мной, вылечить, как мать вылечивала меня. Остатки стыдливости удерживали моих любимых писателей на подступах к истинным высотам — даже паладины Зевако бились не больше чем с двумя десятками супостатов одновременно. В стремле-

нии революционизировать приключенческий роман я вышвыривал за борт правдоподобие, удесятерял опасности, силы противников: спасая будущего тестя и невесту, молодой путешественник из романа «Ради бабочки» сражался против акул три дня и три ночи; под конец море стало красным. Тот же герой, раненный, убегал из ранчо, осажденного апашами, и шел через пустыню, поддерживая руками собственные кишки, — он не разрешал, чтоб ему зашили живот, прежде чем он не поговорит с генералом. Вскоре он же, под именем Геца фон Берлихингена, обратил в бегство целую армию. Один против всех: таков был мой девиз. Ищите источник этих сумрачных и грандиозных фантазий в буржуазно-пуританском индивидуализме моего окружения.

Герой — я боролся против тираний; демиург я сам сделался тираном, я познал все искушения власти. Я был безобиден — стал жесток. Что помешает мне выколоть глаза Дэзи? Умирая от страха, я отвечал себе: ничто. И я их выкалывал, как оторвал бы крылышки у мухи. Мое сердце отчаянно колотилось, я писал: «Дэзи провела рукой по глазам — она ослепла», — и застывал с пером в руке, испытывая восхитительное чувство виновности за ничтожный сдвиг, произведенный мной в аб-

солютном порядке мира. Я не был по-настоящему садистом, моя извращенная радость тут же обращалась в панику, я отменял все свои декреты, перечеркивал и замарывал их, чтобы нельзя было разобрать. Молодая девушка вновь обретала зрение, точнее, никогда его не теряла. Но меня еще долго мучили воспоминания о собственном произволе — я внушал себе серьезную тревогу.

Мир, существовавший на бумаге, также тревожил меня. Иногда, пресытившись невинной резней для детского возраста, я давал себе волю и в ужасе обнаруживал страшную вселенную. Ее чудовищность была оборотной стороной моего всемогущества. Я говорил себе: все может случиться! Это означало: я могу вообразить все. Дрожа, готовый в любую минуту разорвать страничку, я повествовал о сверхъестественных жестокостях. Мать, когда ей случалось заглянуть через плечо в мою тетрадь, восклицала победно и тревожно: «Какое воображение!» Покусывая губы, она пыталась что-то сказать, не находила слов и внезапно убегала; тут я и вовсе терял голову от страха. Но воображение было ни при чем, я не изобретал все эти зверства, а черпал их, как и остальное, в своей памяти.

В ту пору Запад погибал от удушья; это имено-

вали «сладостью жизни». За неимением явного врага буржуазия тешилась, пугая себя собственной тенью; она избавлялась от скуки, получая взамен искомые треволнения. Говорили о спиритизме, о материализации духов; напротив нас, в доме 2 по улице Ле Гофф, занимались столоверчением. Происходило это на пятом этаже. «У мага», — говорила бабушка. Иногда она подзывала нас, мы успевали заметить руки на круглом столике, но кто-то подходил к окну, задергивал шторы. Луиза утверждала, что маг ежедневно принимает детей моего возраста, которых приводят матери. «И я вижу, — сообщала она, — как он возлагает им руки на голову». Дед пожимал плечами, но, хотя и осуждал все это, высмеивать не смел. Мать трусила, в бабушке на сей раз любопытство перевешивало скептицизм. Они сходились на одном: «Главное, не задумываться об этом, а то недолго и с ума сойти». В моде были невероятные истории; благонамеренные газеты снабжали ими два-три раза в неделю своих читателей, утративших веру, но сожалевших об ее изысканных прелестях. Рассказчик сообщал с бесстрастной объективностью о некоем странном факте, он шел навстречу позитивизму: происшествие, как ни смущает оно ум, наверняка

имеет какое-то разумное объяснение. Автор его искал, доискивался, добросовестно излагал. Но тотчас пускал в ход все свое искусство, чтобы дать понять, сколь это объяснение легковесно и неубедительно. Ничего больше. Рассказ обрывался на знаке вопроса. Этого было достаточно. Потустороннее вторгалось в жизнь безымянной и тем более страшной угрозой.

Открывая «Ле матэн», я леденел от ужаса. Одна история меня особенно поразила. До сих пор помню ее название: «Ветер в листве». Летним вечером на втором этаже деревенского дома мечется в постели больная; через открытое окно в комнату протягивает ветви каштан. На первом этаже собралось несколько человек, они болтают, глядя, как сумерки завладевают садом. Вдруг кто-то обращает внимание на каштан: «Что это? Ветер?» Недоумевая, все выходят на крыльцо: ни дуновения, а листья трепещут. И вдруг — крик! Муж больной взбегает по лестнице, он видит, что юная его супруга, вскочив на кровать, показывает пальцем на дерево и падает мертвая; каштан недвижен, как обычно. Что она видела? Из сумасшедшего дома сбежал больной, не он ли, спрятавшись на дереве, скорчил ей страшную рожу? Это он, *безусловно* он, поскольку нет

иного разумного объяснения. И все же… Почему никто не видел, как он туда взобрался, как спустился? Почему не залаяли собаки? Почему через шесть часов его обнаружили в ста километрах от поместья? Нет ответа. Рассказчик небрежно заключал с красной строки: «Если поверить жителям деревни, ветви каштана сотрясала смерть». Я отшвырнул газету, затопал ногами, закричал: «Нет! Нет!» Сердце выскакивало из груди.

Однажды в лиможском поезде я чуть не потерял сознание, листая альманах Ашетта: мне попалась гравюра, от которой волосы вставали дыбом, — набережная в лунном свете, бугорчатая клешня лезет из воды, хватает пьяного, затягивает его в глубь водоема. Картинка была иллюстрацией к тексту, который я проглотил с жадностью. Кончался он следующими примерно словами: «Галлюцинация ли это алкоголика? Или то приоткрылся ад?» Я стал бояться воды, крабов, деревьев. В особенности же книг; я проклял палачей, населявших свои рассказы невыносимыми ужасами. Тем не менее я им подражал.

Нужна была, разумеется, подходящая обстановка, например сумерки. Мрак затоплял столовую, я придвигал свой столик к окну, во мне просыпался страх. В послушании моих героев, неизменно бла-

городных, непризнанных и реабилитированных, я ощущал их несостоятельность. Тогда приходило *это*: кровь во мне леденела от ужаса, нечто цепенящее, незримое надвигалось на меня; я должен был описать это, чтобы увидеть. Скомкав очередное приключение, я переносил героев за тридевять земель, обычно в глубины океана или земли, и спешил подвергнуть их новым опасностям: водолазы или геологи-любители, они наталкивались на следы Твари, преследовали ее и внезапно с нею сталкивались. Существо, рождавшееся в этот момент под моим пером, — спрут с огненными глазами, двадцатитонное членистоногое, гигантский говорящий паук, — было мной самим, страшилищем, жившим в душе ребенка, то была скука моей жизни, страх смерти, моя бесцветность и испорченность. Но я себя не узнавал: едва порожденное мною, гнусное создание кидалось на меня, на моих отважных спелеологов, я дрожал за их жизнь, сердце мое пылало, рука двигалась сама собой, казалось, я не пишу, а читаю. Часто на этом все и кончалось: я не выдавал людей на съедение зверю, но и не выручал их — они столкнулись, с меня было довольно; я вставал, шел на кухню или в кабинет. Назавтра, пропустив одну-две странички, я подвергал своих

героев новым испытаниям. Странные «романы», начала, не имеющие конца, или, если угодно, нескончаемое продолжение одного и того же повествования под разными заглавиями, смесь героических былей и страшных небылиц, фантастических приключений и статей из словаря; я не сохранил их и порой сожалею об этом: приберегi я хоть несколько тетрадей, мое детство было бы мне выдано с головой.

Я начинал познавать себя. Я был почти ничто: самое большее — активность без содержания, но и этого хватало. Я ускользал из комедии; я еще не трудился, но уже не играл, врун обретал свою истину, разрабатывая собственное вранье. Меня породили мои писания: до них была лишь игра зеркал; сочинив первый роман, я понял, что в зеркальный дворец пробрался ребенок. Когда я писал, я существовал, я ускользал от взрослых; но я существовал только для того, чтобы писать, и, если я говорил «я», это значило — я, который пишу. Что бы там ни было, я познал радость — публичный ребенок, я назначал себе частные свидания.

Долго продолжаться так не могло, это было бы слишком прекрасно: в подполье я сохранил бы искренность — меня извлекли на свет божий. Я

достиг возраста, когда от буржуазного ребенка принято ждать первых заявок на призвание; нас уже давно оповестили, что мои двоюродные братья Швейцеры из Гериньи будут инженерами, как их отец. Нельзя было терять ни минуты. Госпожа Пикар пожелала первой обнаружить знак, запечатленный на моем лбу. «Этот мальчик будет писать!» — убежденно заявила она. Луиза, задетая, сухо улыбнулась. Бланш Пикар повернулась к ней и строго повторила: «Он будет писать! Он создан, чтобы писать». Матери было известно, что Шарль этого не одобряет; она испугалась осложнений и близоруко оглядела меня: «Вы уверены, Бланш? Вы уверены?» Но вечером, когда я скакал по кровати в ночной рубашке, она крепко обняла меня и сказала, улыбаясь: «Мой малыш будет писать!» Деда уведомили осторожно, опасались взрыва. Он только покачал головой, но в следующий четверг я услыхал, как он поверял господину Симонно, что никто не может без волнения присутствовать на склоне лет при пробуждении нового таланта. Он по-прежнему не проявлял интереса к моему бумагомаранью, однако, когда его ученики-немцы приходили к нам обедать, клал руку мне на голову и, не упуская случая сообщить им в соответствии со своим ме-

тодом прямого обучения еще одно французское выражение, повторял, чеканя каждый слог: «У него развита шишка литературы».

Сам он ничуть в это не верил. Что с того? Зло свершилось, отказать мне наотрез было рискованно: я мог бы заупрямиться. Карл огласил мое призвание, чтобы, воспользовавшись удобным случаем, отбить у меня к нему охоту. Дед отнюдь не был циником, но он старел; собственные восторги утомляли его, в недрах его сознания, в этой ледяной пустыне, куда он редко наведывался, было наверняка хорошо известно, что мы такое на самом деле: я, вся наша семья, он сам. Однажды, когда я читал, лежа у его ног, в гнетущем безмолвии, которым он вечно, как камнем, давил нас, его осенила мысль, заставившая даже забыть о моем присутствии; он с укором посмотрел на мою мать: «А если ему взбредет в голову зарабатывать на жизнь пером?» Дед ценил Вердена, даже приобрел сборник его избранных стихов. Но утверждал, что видел поэта «пьяным как свинья», в кабачке на улице Сен-Жак в 1894 году; эта встреча укрепила его в презрении к профессиональным писателям, балаганным чудодеям, которые сначала обещают за луидор достать луну с неба, а кончают тем, что за сто су

выставляют напоказ собственную задницу. На лице матери отразился испуг, но она ничего не ответила: ей было известно, что у Карла на меня другие виды. В большинстве лицеев кафедры немецкого языка были заняты эльзасцами, избравшими французское гражданство, — это была своего рода компенсация за их патриотизм; они страдали от межеумочного положения — между двумя народами, между двумя языками, от несистематичности образования, его пробелов. Они жаловались также, что коллеги относятся к ним враждебно, не допуская в свой преподавательский круг. Я стану мстителем, я отомщу за деда, за них всех: внук эльзасца, я в то же время француз из Франции; Карл приобщит меня к сокровищнице человеческого знания, я выйду на магистраль; в моем лице мученик Эльзас будет зачислен в Педагогический институт и, пройдя по конкурсу, станет великим мира сего — преподавателем литературы. Однажды вечером Карл объявил, что хочет побеседовать со мной как мужчина с мужчиной. Женщины вышли, он посадил меня на колени и повел серьезный разговор. Я буду писать это дело решенное; я достаточно его знаю, мне нечего опасаться, что он пойдет против моих желаний. Но нужно быть трезвым, смотреть прав-

де в лицо: литература не кормит. Известно ли мне, что знаменитые писатели умирали с голоду? Что иным из них пришлось продаваться за кусок хлеба? Если я хочу сохранить независимость, надо выбрать вторую профессию. Преподавательская деятельность оставляет досуг; профессора занимаются тем же, чем литераторы; я буду совмещать одно служение с другим, я буду общаться с великими писателями, раскрывая их произведения ученикам, я буду в том же источнике черпать вдохновение. В моем провинциальном затворничестве я буду развлекаться, сочиняя поэмы, переводя белым стихом Горация, я буду публиковать в местной печати короткие литературные заметки, а в «Педагогическом журнале» — блестящие эссе о методике преподавания греческого или психологии подростков. После моей смерти в ящиках стола найдут неизданные труды — медитации о море, одноактную комедию, заметки о памятниках Орильяка, исполненные эрудиции и чувства; наберется на небольшую книжечку, которая будет выпущена в свет заботами моих бывших учеников.

С некоторых пор я оставался холоден к восторгам деда по поводу моих достоинств; когда дрожащим от любви голосом он называл меня

«даром небес», я еще делал вид, что прислушиваюсь, но уже научился не слышать. Почему же я развесил уши в этот день, в минуту, когда он лгал намеренно и обдуманно? Что заставило меня истолковать совершенно превратно урок, который он хотел мне преподать? Дело в том, что голос звучал по-иному: он был сух, тверд — я принял его за голос усопшего, того, кто дал мне жизнь. Шарль был двулик. Когда он играл в деда, я видел в нем такого же паяца, как я сам, и не уважал его. Но когда он разговаривал с господином Симонно или сыновьями, когда за столом, принимая услуги своих женщин, безмолвно указывал пальцем на солонку или хлебницу, его полновластие меня покоряло. В особенности этот палец: дед не благоволил даже выпрямить его, полусогнутый палец описывал в воздухе неопределенную кривую, так что двум его служанкам приходилось угадывать смысл приказания; иногда бабушка, выведенная из себя, ошибалась и протягивала компотницу вместо графина; я осуждал бабушку, я склонялся перед этими царственными желаниями, предупредить их было важнее, чем удовлетворить. Если бы Шарль воскликнул, раскрыв мне объятия: «Вот новый Гюго! Вот будущий Шекспир!» — я был бы сейчас чер-

тежником или преподавателем литературы. Но нет: я впервые имел дело с патриархом; он был суров, он внушал почтение, он и думать забыл, что обожает меня. То был Моисей, оглашающий народу мне — новый закон. О моем призвании он упомянул для того только, чтоб подчеркнуть связанные с ним тяготы: я заключил, что вопрос решен. Предскажи он, что я омочу бумагу потоками слез, что буду биться головой об стену, это могло бы отпугнуть мою буржуазную умеренность. Он утвердил меня в моем призвании, дав понять, что все эти роскошества беспорядочной жизни не мой удел: чтоб рассуждать об Орильяке или педагогике, нет нужды ни в лихорадочном жаре, ни — увы! — в безумствах. Бессмертные рыдания XX века будут исторгнуты из иной груди. Я смирился: не быть мне ни бурей, ни молнией в литературе, я буду блистать в ней домашними добродетелями, любезностью и прилежанием. Профессия писателя предстала предо мной как занятие взрослого человека, столь томительно серьезное, столь ничтожное, столь лишенное в сущности интереса, что у меня не осталось и тени сомнения: мне суждено именно это. Я подумал: «Только и всего», и тут же: «Я одарен». Подобно всем витающим в облаках, я принял падение с

небес на землю за открытие истины.

Карл вывернул меня, как перчатку; я считал, что пишу, чтобы закрепить свои грезы, а выходило, если ему верить, что я и грезил-то только для того, чтобы упражнять перо, — мой талант пускался на уловки, стращал меня, тревожил и все ради того, чтобы я каждый день испытывал желание сесть за пюпитр; он поставлял мне темы для изложения, подходящие для моего возраста, в ожидании, пока опыт и зрелость не приступят к своим великим диктовкам. Рухнули мои воздушные замки. «Помни, — говорил дед, — мало иметь глаза, надо уметь ими пользоваться. Известно ли тебе, как поступал Флобер, когда Мопассан был маленьким? Он сажал его перед деревом и давал два часа на описание». И я стал учиться видеть. Призванный воспевать памятники Орильяка, я печально разглядывал монументы иного рода: бювар, пианино, столовые часы, — как знать, может, и им суждено обрести бессмертие моими трудами. Я наблюдал, то была неувлекательная, нудная игра: встав перед плюшевым креслом, я принимался изучать его. Что о нем скажешь? Ну, что оно покрыто зеленой ворсистой материей, у него две ручки, четыре ножки, спинка с двумя деревянными шишечками наверху. Пока все, но

я еще вернусь к нему, в следующий раз я сумею рассмотреть его лучше, в конце концов я буду знать кресло как свои пять пальцев; позднее я опишу его, читатели скажут: «Вот это наблюдательность! Как схвачено, до чего похоже! Все как в жизни!» Мое настоящее перо будет описывать настоящими словами настоящие вещи, сам черт не помешает тогда и мне стать настоящим. Короче, я раз и навсегда буду знать, что ответить контролерам, когда с меня потребуют билет.

Что и говорить, я ценил свое счастье. Одна беда — оно меня не радовало. Меня включили в штат, меня облагодетельствовали, начертав мне будущее, я уверял, что очарован им, но, грешным делом, меня от него воротило. Набивался я, что ли, на эту писарскую должность? Частое общение с великими людьми убедило меня, что, будучи писателем, рано или поздно становишься знаменитостью; но когда я сопоставлял причитающуюся мне славу и несколько тощих книжонок, которые мне суждено оставить, я ощущал какой-то подвох: мог ли я в самом деле поверить, что столь ничтожные творения дойдут до моих внучатых племянников, что истории, заранее наводящие скуку на меня самого, заставят биться их сердца? Иногда я утешался мыслью, что меня

спасет от забвения мой «стиль» — загадочное свойство, которое дед отрицал за Стендалем и признавал за Ренаном; но это слово, лишенное содержания, не успокаивало.

Главное, мне пришлось отречься от самого себя. Два месяца назад я был бреттером, силачом — конец всему! От меня требовали, чтобы я сделал выбор между Корнелем и Пардальяном. Я отверг Пардальяна, свою истинную любовь; смиренно отдал предпочтение Корнелю. Я видел, как бегают и дерутся в Люксембургском саду настоящие герои; сраженный их красотой, я понял, что принадлежу к низшей расе. Нужно было сказать об этом вслух, вложить шпагу в ножны, стать рядовой скотинкой, возобновить дружбу с великими писателями — мозгляками, перед которыми я не робел, — в детстве они были рахитичными, уж в этом-то мы были похожи; они выросли хилыми, состарились в хворостях, и я буду похож на них; Вольтера высекли по приказу одного дворянина, и меня, быть может, вздует какой-нибудь капитан, былой задира из городского сада.

Я поверил в свою одаренность из покорности судьбе — в кабинете Шарля Швейцера среди растрепанных, разрозненных, испещренных помарками книг талант был начисто обесценен.

Так в прежние времена в дворянских семьях немало младших сыновей, чьей участью от рождения было духовное поприще, продало бы душу черту, чтоб командовать батальоном. Долго еще мрачная помпезность славы представлялась мне в виде одной картины: длинный стол, накрытый белой скатертью, графины с оранжадом, бутылки игристого вина, я держу бокал, люди во фраках, которые меня окружают, их не меньше пятнадцати — провозглашают тост за мое здоровье, позади угадывается пыльная и пустынная огромность снятого на этот случай зала. Как видите, я не ждал от жизни ничего хорошего, разве что она воскресит для меня на склоне лет ежегодный праздник Института новых языков.

Так выковалась моя судьба — в доме номер один по улице Ле Гофф, на шестом этаже, под Гете и Шиллером, над Мольером, Расином, Лафонтеном, подле Генриха Гейне, Виктора Гюго, в ходе тысячи раз повторявшихся бесед: мы с Карлом выгоняли из кабинета женщин, крепко обнимали друг друга, вели вполголоса эти разговоры — диалоги глухих, — и каждое слово запечатлевалось во мне. Шарль наносил удары последовательно и точно, убеждая меня, что я не гений. Я не был им в самом деле и знал это; да и на черта сдалась мне

гениальность — героизм, далекий, недосягаемый, был единственным предметом моей страсти, пылом слабого сердца. Окончательно отказаться от него мне мешали ущербность и чувство собственной бесполезности. Я больше не смел тешить себя мечтами о будущих подвигах, но в глубине души был испуган: произошло какое-то недоразумение — то ли взяли не того ребенка, то ли ошиблись призванием. В полном смятении я соглашался усердно тянуть лямку второразрядного писателя, чтобы не противоречить Карлу. Короче, он швырнул меня в литературу, так как переусердствовал, пытаясь меня от нее отвратить. И сейчас еще в минуты дурного настроения меня мучает мысль: не убил ли я столько дней и ночей, не извел ли кипы бумаги, не выбросил ли на рынок кучу никому не нужных книг в единственной и нелепой надежде угодить деду. Вот смеху-то было бы — через пятьдесят с лишним лет обнаружить, что ради выполнения воли старого-престарого покойника я ввязался в затею, которую он не преминул бы осудить.

Поистине я точно прустовский Сван, излечившийся от любви и вздыхающий: «Надо же мне было так испортить себе жизнь из-за женщины, которая вовсе не в моем вкусе!» Мне случается

втайне быть хамом — этого требует элементарная гигиена. Хам режет правду-матку, но прав он лишь до известного предела. Согласен, у меня нет литературного дара, мне это не раз давали понять. Мне тыкали в глаза моим прилежанием. Да, я первый ученик, мои книги пахнут трудовым потом, не спорю, нашим аристократам есть от чего воротить нос. Я часто писал наперекор себе, а значит, и наперекор всем[5], в таком высоком умственном напряжении, что с годами оно перешло в повышенное кровяное давление. Мои заповеди вшиты мне под кожу: не пишу день — рубцы горят, пишу слишком легко — тоже горят. Эта грубая потребность ставит меня сегодня в тупик своей напористостью, примитивностью, она напоминает тех допотопных, величавых крабов, которых море выносит на пляжи Лонг-Айленда; подобно им, она — пережиток минувшей эпохи. Я долго завидовал привратникам с улицы Ласепед: лето и вечер выгоняли их на улицу; сидя верхом на стульях, они глядели невинными глазами, не облеченные миссией смотреть.

Но вот закавыка: никаких первых учеников

---

[5] Примечания: 5

Если вы снисходительны к себе, снисходительные люди будут вас любить; если вы растерзаете соседа — другим соседям будет смешно. Но если вы бичуете свою душу — все души возопят. (*Прим. автора*).

в литературе не существует, если не считать старичков, макающих перо в туалетную воду, и пижонов, пишущих, как сапожники. Такова уж природа слова: говоришь на своем языке, пишешь на чужом. Отсюда я делаю вывод, что все мы в нашем ремесле одним миром мазаны: все каторжники, все клейменные. К тому же читатель понял: я ненавижу свое детство и все, что от него исходит. Разве я прислушивался бы к голосу деда, к этой механической записи, которая внезапно пробуждает меня и гонит к столу, если б то не был мой собственный голос, если бы между восемью и десятью годами, смиренно вняв мнимому наказу, я не возомнил в гордыне своей, что это дело моей жизни.

Мне отлично известно, что я
всего лишь машина для деланья книг.
Шатобриан

Я едва не сдался без боя. В литературном даровании, которое Карл, скрепя сердце, согласился признать за мной, сочтя опасным полностью его отрицать, я видел, в сущности, лишь некую случайность, она не могла служить законным оправданием для другой случайности — меня самого. У матери был красивый голос, *поэтому* она

пела. Но оставалась все же безбилетным пассажиром. У меня есть шишка литературы — поэтому я буду писать, до конца дней моих буду разрабатывать эту жилу. Ладно. Но тогда искусство утрачивает — для меня по крайней мере — свою священную власть; я все равно остаюсь бродягой, чуть лучше снаряженным, только и всего. Для того чтобы я почувствовал себя необходимым, кто-то должен был воззвать обо мне. Некоторое время домашние держали меня в этом приятном заблуждении; мне твердили, что я дар небес, что меня дождаться не могли, что деду и матери я дороже жизни; теперь я в это больше не верил, но у меня осталось чувство, что ты только тогда не лишний, когда родился на свет специально, чтобы удовлетворить чьи-то чаяния. Я был так горд и одинок в ту пору, что хотел либо ощутить себя нужным всему человечеству, либо умереть.

Писать я бросил: декларации госпожи Пикар придали моим разговорам с самим собой такое значение, что я не смел снова взяться за перо. Когда мне захотелось продолжить роман и хотя бы выручить юную пару, покинутую мною без провианта и тропических шлемов в самом сердце Сахары, я познал тоскливые муки бессилия. Едва я усаживался, голова наполнялась туманом, я гри-

масничал, кусал ногти — я утратил невинность. Я вставал, слонялся по квартире, мне хотелось подпалить ее; увы, я так и не стал поджигателем: послушный по традиции, по натуре, по привычке, я и взбунтовался впоследствии только потому, что довел свою покорность до предела.

Мне купили «тетрадь для домашних работ» в черной коленкоровой обложке, с красным обрезом — внешне она была точной копией «тетради для романов»; стоило мне посмотреть на них, мои школьные задания и мои личные обязательства сливались, я уже не отличал писателя от ученика, ученика от будущего преподавателя; что писать, что преподавать грамматику — все едино; мое обобществленное перо выпало у меня из рук, несколько месяцев я за него не брался. Глядя, как я кисну у него в кабинете, дед улыбался в бороду: он явно считал, что его политика принесла первые плоды.

Она потерпела крах, потому что меня влек героический эпос. Теперь, когда мою шпагу переломили, а меня лишили дворянских прав, я часто видел по ночам один и тот же тоскливый сон: я в Люксембургском саду, около бассейна, против сената; я должен защитить от неведомой опасности белокурую девочку, которая похожа

на Веве, умершую год назад. Малютка, спокойная, доверчивая, серьезно глядит на меня; часто в руках у нее серсо. А мне страшно: я боюсь уступить ее незримому врагу. И как я люблю ее! Какой отчаянной любовью! Я люблю ее и сегодня, я ее искал, терял, обретал, держал в своих объятиях, снова терял — это эпопея. В восемь лет, в тот самый момент, когда я смирился, все во мне восстало; чтобы спасти эту маленькую покойницу, я предпринял простую и бредовую операцию, перевернувшую мою жизнь: я передал писателю священные полномочия героя.

Началось с одного открытия, вернее сказать, воспоминания — некое предвестье было мне еще за два года до того, — великие писатели сродни странствующим рыцарям: как те, так и другие вызывают пылкие проявления признательности. В случае с Пардальяном доказательства были налицо — слезы благодарных сирот избороздили тыльную сторону его руки. Но если верить большому Ларуссу и некрологам, которые я читал в газетах, писатели могли потягаться с героями: стоило писателю прожить достаточно долго, он неизменно получал письмо С *благодарностью* от незнакомца. С этой минуты поток не иссякал, благодарности кипами ложились на стол, за-

громождали квартиру; иностранцы пересекали моря, чтоб пожать руку писателя; соотечественники после его смерти собирали пожертвования на памятник; в родном городе, а иногда даже в столице страны, где он жил, его именем называли улицы. Сами по себе эти выражения признательности меня не интересовали — они слишком походили на наше семейное комедиантство. Тем не менее одна гравюра меня потрясла: знаменитый романист Диккенс должен через несколько часов прибыть в Нью-Йорк, вдали уже виднеется корабль, на набережной теснится в ожидании толпа, рты разинуты, тысячи каскеток подняты в приветственном жесте, теснота такая, что дети задыхаются, и, однако, толпа одинока, она — сирота, вдовица, она покинута, и все потому, что человек, которого она ждет, отсутствует. Я прошептал: «А здесь кого-то не хватает, я говорю о Диккенсе!» — и слезы выступили у меня на глазах. Но я отмахивался от внешних эффектов, я хотел постичь их причины: раз литераторам устраивают такие пламенные встречи, сказал я себе, значит, они подвергаются неслыханным опасностям и оказывают человечеству неоценимые услуги. Только однажды в жизни мне пришлось присутствовать при подобном взрыве

энтузиазма: шляпы летели в воздух, мужчины и женщины кричали «браво!», «ура!» — было 14 июля, маршировали алжирские стрелки. Это воспоминание убедило меня окончательно: несмотря на физическую немощь, манерность, изнеженность, мои собратья по перу были своего рода солдатами, они, как партизаны, рисковали жизнью в тайных схватках — аплодисменты относились в большей мере к их воинской отваге, чем к таланту. Значит, это правда, сказал я себе. *Они нужны*! Их ждут в Париже, Нью-Йорке, Москве, ждут, кто в страхе, кто в нетерпении, ждут задолго до того, как они опубликуют свою первую книгу, начнут писать, появятся на свет.

Но тогда… как же я? Я, чья миссия — писать? Да, меня тоже ждут. Я превратил Корнеля в Пардальяна: он остался кривоногим, узкогрудым, сохранил постную мину, но я избавил его от скупости и корыстолюбия; я преднамеренно спутал литературное мастерство и великодушие. Теперь уж ничего не стоило самому сделаться Корнелем и облечь себя полномочиями защитника рода человеческого. Забавное будущее готовила мне моя новая ложь; но пока я был в выигрыше. Явившись на свет незваным, я приложил все усилия, чтобы родиться заново; меня, как я

уже рассказал, вызвали к жизни тысячекратные мольбы оскорбленной невинности. Сначала все это было понарошку: мнимый рыцарь, я совершал мнимые подвиги, в конце концов меня стало воротить от их невсамделишности. И вот я снова обрел право мечтать, но на сей раз мои мечты реализовались. Ведь призвание существовало, никаких сомнений, гарантию дал сам верховный жрец. Выдуманный ребенок, я становился подлинным паладином, чьими подвигами будут подлинные книги. Я призван! Моих творений — первое из них, при всем моем усердии, появится не раньше 1935 года — уже ждут. Году к 1930 люди начнут проявлять нетерпение, говорить между собой: «Однако он заставляет себя ждать! Вот уже двадцать пять лет кормим тунеядца! Что ж, мы так и помрем, не прочтя его?» Я отвечал им своим голосом 1913 года: «Отстаньте, дайте поработать!» Но я был любезен: я видел, что они — бог знает почему — нуждались в моей помощи, и эта нужда породила меня, только я и мог ее удовлетворить. Я прислушивался, стараясь уловить в себе самом это всеобщее ожидание, мой животворный источник и смысл моего бытия. Иногда казалось, еще минута — и я у цели, но тут же я понимал тщету своих усилий. Неважно: с меня

было достаточно и этих обманчивых проблесков. Приободрившись, я озирался по сторонам: может, меня уже где-нибудь не хватает? Но нет, слишком рано. Прекрасный предмет желания, еще не осознавшего себя, я радостно соглашался хранить некоторое время *инкогнито*. Иногда бабушка брала меня в библиотеку, меня забавляли высокие задумчивые дамы, скользившие от полки к полке в тщетных поисках автора, который насытил бы их голод; они и не могли его найти, ведь им был я — мальчик, путавшийся у них под ногами, а они даже не смотрели в мою сторону.

Меня это донельзя потешало и трогало до слез; за свою короткую жизнь я насочинил себе немало ролей и склонностей, но все они таяли как дым.

Теперь во мне пробурили скважину, и бур уперся в скалу. Я писатель, как Шарль Швейцер — дед, от рождения и навсегда. Случалось, однако, что сквозь этот энтузиазм пробивалось беспокойство. Я не хотел допустить, что талант, гарантией которого в моих глазах был Карл. — простая случайность, я ухитрился превратить его в некий мандат, но никто не поощрял меня, никто ничего от меня не требовал, и мне не удавалось забыть, что вручил себе полномочия я сам. Я был частью первозданья, и в тот самый момент, когда я вы-

делился из природы, чтобы стать наконец самим собой тем другим, каким я хотел быть в глазах других, — я взглянул в лицо своей судьбе и узнал ее: то была всего лишь моя собственная свобода, возведенная мной самим в ранг некой сторонней силы. Короче, мне не удавалось ни полностью провести себя, ни полностью разубедить. Я колебался. Сомнения воскресили старую проблему: как сочетать верноподданность Мишеля Строгова и великодушие Пардальяна? Когда я бывал рыцарем, я не повиновался приказам короля; должен ли был я согласиться стать писателем по чьему-то повелению? Впрочем, сомнения мучили меня недолго; я был во власти двух противоборствующих начал, но отлично приноравливался к их разноречию. Меня даже устраивало, что я одновременно дар небес и плод собственных произведений. В хорошие минуты все исходило от меня, я сам извлек себя из небытия, чтобы дать людям книги, которых они жаждут; послушный ребенок, я буду покорен до конца дней, но только себе самому. В часы уныния, когда меня тошнило от никчемности моей свободы, я утешал себя, напирая на предназначение. Я призывал род человеческий и возлагал на него ответственность за свою жизнь; я видел в себе только продукт кол-

лективной потребности. Чаще всего я умудрялся не отказываться полностью ни от свободы, которая вдохновляет, ни от необходимости, которая оправдывает, и тем самым сохранял душевный мир.

Пардальян и Строгов уживались прекрасно, опасность таилась в другом: я стал невольным свидетелем неприятной очной ставки, весьма меня насторожившей. Всю ответственность за это несет Зевако, от которого я никак не ждал подвоха; хотел он смутить меня или предостеречь? Так или иначе, но в один прекрасный день в Мадриде, на постоялом дворе, когда я всецело был поглощен беднягой Пардальяном, который вкушал заслуженный отдых за бутылкой вина, романист привлек мое внимание к другому посетителю — то был не кто иной, как Сервантес. Герои знакомятся, обмениваются заверениями во взаимном уважении и отправляются сообща защищать добродетель. Хуже того, не помня себя от счастья, Сервантес признается новому другу, что намерен писать роман — до сих пор главный герой был ему не вполне ясен, но теперь, слава богу, появился Пардальян, который послужит моделью. Я возмутился и чуть не бросил книгу: какая бестактность! Я был писателем-рыцарем,

меня рассекли надвое, каждая половинка стала самостоятельным человеком, они встретились и вступили в спор: Пардальян был не глуп, но не написал «Дон Кихота»; Сервантес неплохо дрался, но нечего было и рассчитывать, что он один сможет обратить в бегство двадцать рейтаров. Дружба только подчеркивала ограниченность каждого. Первый думал: «Писака хлипковат, но в храбрости ему не откажешь». А второй: «Черт побери, для рубаки этот парень неплохо рассуждает». И потом мне было не по душе, что мой герой послужил моделью для Рыцаря Печального Образа. В эпоху «кино» мне подарили адаптированного «Дон Кихота», я не прочел и пятидесяти страниц: мои героические подвиги выставляли всему миру на посмешище! А теперь и сам Зевако... Кому же верить? Сказать по чести, я был потаскухой, солдатской девкой — мое сердце, мое подлое сердце предпочитало авантюриста интеллигенту; я стыдился быть всего-навсего Сервантесом. Чтобы закрыть себе путь к предательству, я установил террор, изгнал из головы и лексикона слово «героизм» и его производные, загнал вглубь странствующих рыцарей, заставлял себя думать о писателях, об опасностях, которые их подстерегают, об остром

пере, которым пронзают злодеев. Я по-прежнему читал «Пардальяна и Фаусту», «Отверженных», «Легенду веков», плакал над Жаном Вальжаном, над Эвираднусом, но, захлопнув книжку, стирал их имена в памяти и вызывал на перекличку полк, к которому был приписан: Сильвио Пеллико — приговорен к пожизненному заключению, Андре Шенье — гильотинирован, Этьен Доле — сожжен заживо, Байрон — погиб за Грецию. С холодной одержимостью я отдался переплавке своего призвания, обогатив его прежними мечтами; я не отступал ни перед чем, я выворачивал идеи наизнанку, искажал смысл слов, я отгородился от мира, опасаясь дурных встреч и возможных сравнений. На смену каникулярному покою моей души пришла постоянная всеобщая мобилизация — я ввел военную диктатуру.

От сомнений я, однако, не избавился, только они приняли другую форму. Я оттачиваю свой талант — прекрасно. Но с какой целью? Я нужен людям — *для чего*? Я имел несчастье задуматься о своей роли и предназначении. Я спросил: «О чем в конце концов речь?» — и понял, что все рушится. Речь не шла *ни о чем*. Не всяк герой, кому хочется. Храбрости и дара мало, нужны еще гидры и драконы. Я их не находил нигде.

Вольтер и Руссо крепко повоевали на своем веку, но ведь в те времена еще не перевелись деспоты. Гюго с Гернсея пригвоздил Баденге, ненавидеть которого научил меня дед. Но велика ли заслуга кричать о своей ненависти к императору, вот уже сорок лет как умершему? О современной истории Шарль не распространялся: дрейфусар, он никогда и слова не сказал мне о Дрейфусе. А жаль! С каким увлечением сыграл бы я роль Золя: я выхожу из суда, озверелая толпа бросается па меня, поворачиваюсь на ступеньках коляски, задаю жару самым оголтелым, впрочем, нет, я нахожу грозные слова, которые заставляют их отступить. И уж я, разумеется, отказываюсь бежать в Англию. Я не признан, всеми покинут — какая услада вновь стать Гризельдой, одиноко скитаться по Парижу, ни на минуту не сомневаясь, что меня ждет Пантеон.

Бабушка получала ежедневно «Ле матэн» и, если не ошибаюсь, «Эксельсиор»; я узнал о существовании уголовного мира — как всем порядочным людям, он был мне омерзителен. Но от этого зверья в человеческом облике проку мне было мало, неустрашимый господин Лепин сам с ними управлялся. Иногда роптали рабочие, рушились состояния, но я об этом и слыхом не слыхал и до

сих пор не знаю, что на сей счет думал дед. Он пунктуально исполнял долг избирателя, выходил из кабинки помолодевшим, немного красуясь, и, когда наши женщины поддразнивали его: «Ну, скажи уж, за кого ты голосуешь?» — сухо отрезал: «Это мужское дело!» Однако после избрания нового президента республики он в минуту откровенности дал нам понять, что не одобряет кандидатуру Пама. «Табачный торговец!» — воскликнул он в сердцах. Мелкобуржуазный интеллигент, Шарль хотел, чтоб первым чиновником Франции был его ровня, интеллигентный мелкий буржуа — Пуанкаре. Мать уверяет меня теперь, что он голосовал за радикалов, что ей это было отлично известно. Не удивляюсь: он выбрал партию чиновников; к тому же радикалы уже отживали свой век, Шарль мог спать спокойно — отдавая голос партии прогресса, он голосовал за партию порядка. Короче, если верить деду, дела французской политики были отнюдь не плохи.

Это приводило меня в отчаяние — я вооружился, чтобы защищать человечество против ужасных опасностей, а все заверяли меня, что оно безмятежно развивается и совершенствуется. Дед воспитал меня в уважении к буржуазной демократии: я охотно обнажил бы ради нее перо,

но в президентство Фальера крестьяне пользовались избирательным правом, чего же больше? Что делать республиканцу, если ему выпало счастье жить в республике? Он бьет баклуши или преподает греческий, а в часы досуга описывает памятники Орильяка. Я вернулся к исходной точке и опять почувствовал, что задыхаюсь в бесконфликтном мире, обрекающем писателя на безработицу.

И снова выручил меня Шарль. Невольно, разумеется. За два года до того, чтобы приобщить меня к идеям гуманизма, он высказал некоторые соображения, о которых больше не заикался, опасаясь дать пищу моему безумию. Но идеи запечатлелись в моем мозгу. Теперь они вновь неслышно забродили во мне и, спасая основу основ, мало-помалу превратили писателя-рыцаря в писателя-мученика. Я рассказывал о том, как неудавшийся пастор, верный воле своего отца, сберег божественное начало, влив его в культуру. Из этой амальгамы возник святой дух, атрибут бесконечной субстанции, патрон литературы и искусства, древних и новых языков, а также метода прямого обучения, белый голубок, который нисходил благодатью на семейство Швейцеров, порхал по воскресеньям над органами и оркест-

рами, а в рабочие дни усаживался, как на насест, на макушку деда. Давние высказывания Шарля, собранные воедино, слились в моей голове в некую речь: мир во власти зла, спасение одно — отринуть самого себя, земные радости, осознав всю глубину крушения, отдаться созерцанию недосягаемых идей. Дело это трудное, требующее опасной и долгой тренировки, поэтому оно поручено специальному корпусу. Служители культа берут опеку над человечеством и обращают свои заслуги на его спасение — хищники, большие и малые, могут, спокойно транжиря свое бренное существование, грызться друг с другом или тупо прозябать, поскольку писатели и художники размышляют за них о красоте и добре. Для извлечения человечества из животного состояния необходимо и достаточно, во-первых, сберечь в местах. находящихся под охраной, реликвии умерших служителей культа — полотна, книги, статуи; во-вторых, иметь в наличии хотя бы одного живого служителя, способного продолжать дело и производить очередные реликвии.

Подлый вздор; я поглощал его, не очень понимая, в двадцать лет я все еще продолжал в него верить. Я долгое время считал, что искусство — явление метафизическое и что от каждого про-

изведения зависит судьба вселенной. Я извлек на свет эту свирепую религию и уверовал в нее, чтоб позолотить свое тусклое призвание, я проникся обидами, озлоблением, не имевшими никакого отношения ни ко мне, ни тем более к моему делу; давняя желчь Флобера, Гонкуров, Готье отравила меня, мне была впрыснута их абстрактная ненависть к человеку, выдаваемая за любовь. Этот яд изменил мои представления о собственной роли. Я заразился ересью катаров, я смешал литературу с молитвой, я превратил ее в человеческое жертвоприношение. Мои братья, решил я, ждут, чтобы мое перо послужило им во спасение. От их жалкого бытия давно и следа бы не осталось, когда бы не постоянное вмешательство святых. Если по утрам я просыпаюсь живой и здоровый, если, подбегая к окну, вижу, как по улице идут господа и дамы, целые и невредимые, то благодарить за это надо некоего труженика-надомника, корпевшего от зари до зари над бессмертной страницей — платой за суточную отсрочку для нас всех. Когда стемнеет, он возобновит свой труд, и так будет сегодня, завтра, пока он не умрет от износа; тогда заступлю на смену я, и я тоже буду удерживать род человеческий на краю пропасти своим жертвоприношением, своим творчеством. Незаметно

воин уступал место священнику — трагический Парсифаль, я предлагал самого себя на заклание. В тот день, когда я открыл Шантеклера, в моей душе все сплелось в тугой клубок — тридцать лет я ухлопал на то, чтобы размотать этот клубок змей. Растерзанный, окровавленный, избитый Шантеклер находит в себе силы охранять птичий двор; он запоет, и ястреб обращен в бегство, и злобная толпа, только что травившая певца, курит ему фимиам; ястреб исчез — поэт сражается вновь, красота вдохновляет его, удесятеряет силы, он обрушивается на противника, повергает врага. Я плакал: Гризельда, Корнель, Пардальян — я обрел их всех в одном, я буду Шантеклером. Все прояснилось: писать — значит украсить еще одной жемчужиной ожерелье муз, оставить потомству память о поучительной жизни, защитить народ от него самого и от его врагов, торжественной мессой снискать для людей благословение небес. Мне и в голову не пришло, что можно писать, чтоб тебя читали.

Пишут для соседей или для бога. Я избрал бога в намерении спасти соседей, я жаждал не читателей, а должников. Высокомерие подтачивало изнутри мое великодушие. Уже во времена, когда я был защитником сирот, я прежде всего

избавлялся от них, удаляя с поля сражения. Став писателем, я не изменил повадок: прежде чем спасти человечество, я завязывал ему глаза и только потом разворачивался навстречу маленьким, черным, стремительным рейтарам — словам; когда моя новая сиротка осмелится снять повязку, меня и след простынет; спасенная героическим подвигом одиночки, она не сразу заметит на полках национальной библиотеки лучезарный новенький томик с моим именем.

Прошу учесть смягчающие обстоятельства. Их три. Прежде всего сквозь эти выдумки ясно проглядывает мое сомнение в собственном праве на жизнь. В беспаспортном человечестве, отданном на произвол художника, нетрудно узнать ребенка, который пресыщен благополучием и скучает на своем насесте; я принял гнусный миф о святом, спасающем чернь потому, что в конце концов чернью был я сам; я объявил себя патентованным спасителем толпы, чтобы потихоньку и, как говорят иезуиты, сверх того обеспечить собственное спасение.

И потом мне было девять лет. Единственный сын, лишенный товарищей, я и представить себе не мог, что моя изоляция не вечна. Следует отметить, что литератором я был совершенно

непризнанным. Я опять начал писать. Мои новые романы за неимением лучшего походили как две капли воды на прежние, но никто их не читал. Даже я сам. Мне это было неинтересно. Мое перо двигалось так стремительно, что у меня часто болело запястье; я сбрасывал на пол исписанные тетради, потом забывал о них, они пропадали; поэтому я ничего не завершал: стоит ли рассказывать конец истории, если начало утеряно. К тому же, если бы Карл соблаговолил взглянуть на эти страницы, он был бы для меня не *читателем*, а верховным судией, я страшился его приговора. Сочинительство — мой безвестный труд — было ото всего оторвано и потому осознавало себя самоцелью: я писал, чтобы писать. Не жалею об этом. Читай меня кто-нибудь, я старался бы нравиться и опять стал бы вундеркиндом. На нелегальном положении я сохранял подлинность.

И последнее: идеализм служителя культа опирался на реализм ребенка. Я уже говорил: открыв мир в слове, я долго принимал слово за мир. Существовать значило обладать утвержденным наименованием где-то на бесконечных таблицах слова; писать значило высекать на них новые существа или — такова была самая упорная из моих иллюзий — ловить вещи живьем в капканы

фраз: если я буду изобретательно пользоваться языком, объект запутается в знаках, я схвачу его. Вот в Люксембургском саду мой взгляд притягивает великолепное подобие платана; я не пытаюсь наблюдать, напротив, я доверчиво жду наития; через мгновение приходит простое прилагательное, а иногда и целое предложение — это и есть его настоящая листва; я обогатил вселенную трепещущей зеленью. Никогда я не заносил своих находок на бумагу я считал, что они накапливаются в моей памяти. На самом деле я их забывал. Но они были провозвестниками моей будущей роли — мне предстоит давать имена. Веками расплывчатые белые пятна в Орильяке ждали точных контуров, ждали смысла: я превращу их в настоящие памятники. Террорист, я посягал лишь на их сущность: мне предстоит глаголом сотворить ее. Ритор, я любил только слова: мне предстоит воздвигнуть словесные храмы под голубым оком слова «небо». Я буду строить на века. Взяв в руки книгу, я мог сколько угодно открывать и закрывать ее, она от этого не менялась. Соприкасаясь с устойчивой субстанцией — *текстом*, — мой ничтожный бессильный взор скользил по поверхности, ничего не задевая, ничего не изнашивая. Я же — пассивный,

эфемерный — был всего лишь мошкой, которая ослеплена, пронизана огнем маяка; я выходил из кабинета, гасил лампу — невидимая во мраке, книга струила свет по-прежнему, сама для себя. Я наделю свои произведения неистовостью этих всепроникающих лучей, и потом среди развалин библиотек они переживут человека.

Мне понравилось быть неизвестным, я захотел продлить удовольствие, сделать неизвестность своей заслугой. Я завидовал прославленным узникам, писавшим в темницах на оберточной бумаге. Они приносили себя на алтарь ради современников, но были избавлены от общения с ними. Правда, прогресс нравов почти не оставлял надежды на то, что моему таланту посчастливится расцвести в тюрьме, но я не отчаивался: ошеломленное скромностью моих стремлений, провиденье приложит силы, чтобы их осуществить. Пока что я был узником в предвосхищении.

Мать, которую дед обвел вокруг пальца, не упускала случая живописать радости, ожидающие меня; для вящего соблазна она уснащала мою жизнь всем тем, чего не хватало ей самой, — покоем, досугом, душевным миром. Молодой преподаватель, холостяк, я снимаю у красивой

старой дамы уютную комнату, пахнущую лавандой и свежим бельем; до лицея рукой подать; по вечерам я задерживаюсь в прихожей, чтобы поболтать с хозяйкой, она от меня без ума; впрочем, меня обожают все, потому что я любезен и воспитан. Во всем рассказе я слышал только одно — «твоя комната». Лицей, вдову полковника, запах провинции я все пропускал мимо ушей, я видел только круг света на столе, занавески задернуты, посреди комнаты, утопающей во мраке, я склоняюсь над тетрадью в черной коленкоровой обложке. Мать продолжала рассказ, перескакивая через десять лет: мне покровительствует генеральный инспектор, я принят в хорошем обществе Орильяка, молодая жена питает ко мне самую нежную привязанность, я делаю ей красивых здоровых детей двух сыновей и одну дочку; жена получает наследство, я покупаю участок на окраине города, мы строимся и каждое воскресенье всем семейством ездим наблюдать за ходом работ. Я не слушал: все эти десять лет маленький, усатый, как мой отец, я, взгромоздившись на стопку словарей, сижу за столом; усы мои седеют, рука безостановочно пишет, тетради одна за другой падают на паркет. Человечество спит; ночь; жена и дети спят, а может, даже и

умерли; хозяйка квартиры спит; сон вычеркнул меня из памяти всех. Вот это одиночество: два миллиарда людей улеглось, и я возвышаюсь над ними единственным дозорным.

На меня глядит святой дух. Он как раз принял решение вернуться на небо и покинуть людей; настал час принести себя на алтарь. Я открываю ему раны своей души, показываю слезы, омочившие бумагу, он читает через мое плечо, гнев его стихает. Что умиротворило его — глубина страданий или совершенство произведения? Я отвечал себе: «Произведение», втайне думая — «Страдания». Конечно, святой дух ценил только *подлинно* художественные творенья, но я читал Мюссе, я знал, что «слова отчаянья прекрасней всех других», и я решил приманить красоту подсадным отчаяньем. Слово «гениальность» мне всегда казалось подозрительным, теперь оно вызывало у меня просто отвращение. К чему тоска, испытания, преодоленные соблазны, в чем, наконец, заслуга, если я одарен? Я едва мирился с тем, что мне дано одно тело и та же самая голова на все случаи жизни; нет, я не позволю сковать себя выделенным мне снаряжением. Я готов был возложить на себя миссию при условии, чтоб ничто во мне не предопределяло моего назначения,

чтобы оно не было ничем обусловлено, парило в безвоздушном пространстве. Я тайно препирался со святым духом. «Будешь писать», — говорил он мне. Я ломал руки: «За что, господи, твой выбор пал на меня?» — «Ни за что». — «Так почему же я?» — «Потому». — «Есть ли у меня хоть легкость пера?» — «Никакой. Ты что ж, считаешь, что великие произведения выходят из-под легких перьев?» — «Господи, но если я так ничтожен, как же я создам книгу?» «Прилежанием». — «Значит, ее может написать кто угодно?» — «Кто угодно, но я избрал тебя». Такая подтасовка меня устраивала, позволяла заниматься самоуничижением и одновременно чтить в себе автора будущих шедевров. Я был избран, отмечен, но бездарен: все, чего я добьюсь, будет плодом моего беспредельного терпения и невзгод; я отрицал в себе какую бы то ни было индивидуальность; черты характера связывают; я был верен только одному — царственному служению, которое вело меня к славе через муки. Муки? Их надо было еще найти; это была единственная, но, казалось, неразрешимая проблема, поскольку надеяться на нищету не приходилось: останусь ли я безвестным, достигну ли славы, мне все равно предстоит получать зарплату по ведомству просвещения, голодным я не

буду. Я сулил себе жестокие любовные горести, без особого энтузиазма: я ненавидел вздыхателей, скованных чувством; меня шокировал Сирано, этот псевдо-Пардальян, глупевший перед женщинами. За настоящим Пардальяном тянулся хвост поклонниц, «но доблестный, прямой и даже чуть суровый», он их не замечал; правда, сердце его было навек разбито смертью возлюбленной, Виолетты. Вдовство неисцелимая рана; из-за женщины — «в тебе, в тебе одной причина», — но не по ее вине; это позволит отвергнуть притязания остальных. Обдумать. Но допустим даже, что моя юная орильякская супруга гибнет в катастрофе, такое горе еще не дает права на избранничество, оно случайно и обыденно. Моя одержимость нашла все же выход. Ведь были писатели, на долю которых выпали позор и травля, гонимые и безвестные, прозябали они до последнего вздоха, слава венчала лишь их трупы, вот это по мне. Я буду старательно писать об Орильяке и его статуях. Неспособный к ненависти, я буду стремиться ко всеобщему согласию, к служению людям. И, однако, первое же мое произведение вызовет скандал, я буду объявлен общественно опасным; овернские газеты осыплют меня оскорблениями, торговцы захлопнут двери лавок, возбужденная

толпа забросает камнями мои окна; чтобы спастись от линчевания, я вынужден буду бежать. Подавленный, я проведу долгие месяцы в тупой прострации, неустанно твердя: «Но, право же, это недоразумение. Ведь человек по природе добр!» И в самом деле, это будет недоразумением, но святой дух не допустит, чтоб оно рассеялось. Я выздоровею. Однажды я снова сяду за свой стол и напишу книгу о море или о горах. Она не найдет издателя. Преследуемый, вынужденный скрываться, может быть осужденный, я создам другие книги, много книг, я буду переводить Горация стихами, я изложу свои скромные и в высшей степени разумные суждения о педагогике. Ничего не поделаешь: в чемодане будут скапливаться неизданные тетради.

У этой истории было две развязки; я выбирал ту или другую в зависимости от настроения. В сумрачные дни я видел себя умирающим на железной кровати, окруженным всеобщей ненавистью, отчаявшимся в тот самый час, когда слава уже подносила к губам свой рожок. Иногда я дарил себе немного счастья. В пятьдесят лет, пробуя новое перо, я пишу свое имя на рукописи. Спустя некоторое время она теряется. Кто-то находит ее — на чердаке, в канаве, в чулане до-

ма, из которого я только что выехал, — читает, потрясенный, относит к Артэму Файяру, знаменитому издателю Мишеля Зевако. Триумф — десять тысяч экземпляров распродано за два дня. Всеобщее раскаяние. Свора репортеров устремляется на поиски, но след мой утерян. А я, затворник, долго еще и знать не знаю об этом повороте общественного мнения. Наконец однажды, прячась от дождя, я захожу в кафе, беру газету, и что я вижу? «Жан-Поль Сартр, писатель-загадка, певец Орильяка, поэт моря». На третьей полосе шесть колонок крупным шрифтом. Я ликую. Нет, я в сладкой меланхолии. Во всяком случае, я возвращаюсь домой, с помощью хозяйки закрываю и обвязываю веревкой чемодан с тетрадями и отправляю его Артому Файяру без обратного адреса. На этом я прерывал рассказ, перебирая в уме пленительные комбинации: если я пошлю чемодан из города, где живу, журналисты в мгновенье ока обнаружат мое убежище. Лучше отвезти чемодан в Париж, отправить его в издательство с посыльным; я еще успею до поезда посетить места моего детства — улицу Ле Гофф, улицу Суффло, Люксембургский сад. Меня потянет в «Бальзар»: я вспомню, что дед — к этому времени уже покойный — водил меня туда в 1913 году, мы

усаживались рядом на диванчике, все глядели на нас с видом сообщников, дед заказывал пиво — себе кружку, мне стаканчик, — я чувствовал, что любим. И вот теперь, пятидесятилетний и тоскующий, я отворяю дверь пивной, прошу пива. За соседним столиком оживленно болтают молодые красивые женщины, они произносят мое имя. «Ах, — говорит одна, — пусть он стар, уродлив, что за важность, я отдала бы тридцать лет жизни, чтобы выйти за него замуж!» Я улыбаюсь ей гордо и грустно, она отвечает удивленной улыбкой, я встаю, исчезаю.

Долгие часы я шлифовал этот эпизод и множество других, от которых избавлю читателя. В них легко распознать мое детство, спроецированное в будущее, мое положение в семье, выдумки, занимавшие меня на шестом году жизни, упорство моих паладинов, цеплявшихся за безвестность. В девять лет я все еще упрямо дулся на мир, черпая в обиде наслаждение; из упрямства я, непреклонный мученик, не давал рассеяться недоразумению, осточертевшему, казалось, самому святому духу. Почему не назвал я своего имени прелестной поклоннице? «Ах, — говорил я себе, — слишком поздно». — «Но ведь это ее не останавливает?» — «Да, но я слишком беден». —

«Слишком беден? А гонорары?» Я отметал и это возражение: я написал Файяру, чтоб он роздал бедным деньги, причитающиеся мне. История, однако, нуждалась в развязке. Что ж, я угасал в своей конуре, всеми покинутый, но с миром в душе — я выполнил свою миссию.

Одно поражает меня в этой тысячекратно повторявшейся истории, стоит мне увидеть свое имя в газете, как пружина лопается и мне приходит конец; я меланхолически наслаждаюсь известностью, но более не пишу. Суть обеих развязок едина — умираю ли я, чтоб родиться для славы, приходит ли слава, чтоб меня убить, жажда писать таит в себе отказ от жизни.

В ту пору взволновал меня один, не помню где вычитанный рассказ. Дело происходит в прошлом столетии. На сибирском полустанке некий писатель расхаживает в ожидании поезда. На горизонте — ни избушки, кругом — ни души. Писатель угрюмо клонит крупную усталую голову. Он близорук, холост, груб, всегда раздражен; он скучает, думает об опухоли простаты, о долгах. И вдруг на тракте, идущем вдоль железнодорожного пути, появляется карета; юная графиня выскакивает из экипажа, подбегает к путешественнику, которого никогда не видела и узнала

якобы по дагерротипу, склоняется перед ним, ловит его правую руку, целует ее. На этом история обрывалась, не знаю, что хотел сказать автор. Но меня, девятилетнего мальчишку, восхищало, что у писателя-брюзги в степи нашлись читательницы, что столь прекрасная особа явилась напомнить ему о позабытой им славе — это и было подлинным рождением. А посмотреть глубже — смертью. Я ощущал это, я хотел, чтоб было так; живой простолюдин не мог принять таких знаков поклонения от аристократки. Графиня, казалось, говорила: «Если я приблизилась к вам, коснулась вас, значит, отпала необходимость блюсти высоту моего ранга; мне не важно, что вы подумаете о моем порыве, вы для меня не человек, а символ вашего творчества». Отделенный тысячью верст от Санкт-Петербурга и пятьюдесятью пятью годами от даты своего рождения, некий путешественник, сраженный поцелуем в руку, вспыхивал ярким пламенем, сгорал в огне славы, не оставив ничего, кроме пылающих букв каталога произведений. Я видел, как графиня садилась в свою карету, исчезала, и одиночество вновь охватывало степь; не останавливаясь, чтоб нагнать опоздание, проходил в сумерках поезд, по спине моей пробегала дрожь страха, я вспо-

минал «Ветер в листве» и думал: «Графиня — это смерть». Она явится ко мне, однажды на пустынной дороге она коснется поцелуем моих пальцев.

Смерть преследовала меня, как наваждение, потому что я не любил жизни. Этим объясняется ужас, который мне внушала смерть. Уподобив ее славе, я сделал из смерти пункт назначения. Я захотел умереть; иногда леденящий страх сковывал мое нетерпение, но ненадолго; моя святая радость воскресала, я рвался к ослепительному мигу, когда я буду испепелен. В наших жизненных замыслах нераздельно сплетены намерения и увертки; я понимаю теперь: в безумной идее писать, чтоб искупить факт своего существования — пусть идея сама по себе чванлива и лжива, — было нечто реальное; тому доказательство, что и сейчас, пятьдесят лет спустя, я продолжаю писать. Но, поднимаясь к истокам, я вижу в ней увертку, наступление из трусости, самоубийство шиворот-навыворот; да, я жаждал смерти больше, чем эпопеи, больше, чем мученичества. Я долго опасался, что кончу дни, как начал, вне времени и пространства, что случайная смерть будет лишь отголоском случайного рождения. Призвание меняло все: удары шпаги уходят, написанное остается, я понял, что в изящной словесности да-

рующий может обратиться в собственный удар, то есть в объект в чистом виде. Случай сделал меня человеком, великодушие сделает книгой; я смогу отлить в бронзовых письменах свою болтовню, свое сознание, сменить тщету жизни на неизгладимость надписей, плоть па стиль, вялые витки времени на вечность, предстать перед святым духом, как некий осадок, выпавший в результате языковой реакции, стать навязчивой идеей рода человеческого, быть наконец *другим*, иным, чем я сам, иным, чем все другие, иным, чем вс. Сотворив себе тело, не подверженное износу, я предложу его потребителю. Я стану писать не удовольствия ради, а для того. чтобы изваять в слове это бессмертное тело. С высоты моей могилы рождение представлялось неизбежным злом, неким сугубо временным воплощением, подготовлявшим преображение: чтобы воскреснуть, необходимо было писать, чтобы писать, необходим был мозг, глаза, руки; завершится труд, и эти органы распадутся сами собой — году в 1955 лопнет кокон, из него вылетят двадцать пять бабочек in folio и, трепеща всеми страницами, усядутся на полку Национальной библиотеки. Эти бабочки и будут моим «я»: двадцать пять томов, восемнадцать тысяч страниц текста, триста гравюр, в том

числе портрет автора. Мои кости — коленкор и картон, моя пергаментная плоть пахнет клеем и грибами, я расположился со всеми удобствами на шестидесяти килограммах бумаги. Я воскресаю, я наконец становлюсь полноценным человеком, говорящим, думающим, поющим, громыхающим, утверждающим себя с безапелляционной незыблемостью материи. Меня берут, меня открывают, меня кладут на стол, меня поглаживают ладонью и иногда разгибают так, что раздается хруст. Я терплю все это и вдруг взрываюсь, ослепляю, повелеваю на расстоянии; пространство и время передо мной бессильны, я повергаю в прах дурных, я беру под защиту хороших. От меня нельзя отмахнуться, меня нельзя обойти молчанием, я великий кумир, портативный и грозный. Мое сознание раздробилось — тем лучше. Оно вошло в другие сознания. *Меня* читают, взор прикован *ко мне*, *меня* цитируют, я у всех на устах, я — язык всеобщий и неповторимый; я свечусь пытливостью во взоре миллионов; для того, кто сумеет меня полюбить, я глубочайший трепет его души, но попытайся он дотронуться до меня рукой. я исчезну, растаю: я больше нигде не существую, *я есмь* наконец! Я повсюду; я паразитирую на человечестве, мои благодеяния въедаются в

него, заставляя непрерывно воссоздавать меня из небытия.

Фокус удался: я похоронил смерть в саване славы; отныне я думал только о последней, не вспоминая о первой, не отдавая себе отчета в том, что они едины. Сейчас, когда я пишу эти строки, я знаю. что мое время истекло, осталось несколько лет Так вот, я отчетливо представляю себе — без особой радости —надвигающуюся старость, дряхлость, от которой не уйти. дряхлость и смерть тех, кто мне дорог; собственную смерть никогда. Случается, я даю понять своим близким — некоторые из них моложе меня на пятнадцать, двадцать, тридцать лет, — как горько мне будет пережить их; они посмеиваются надо мной. и я хохочу вместе с ними, но они ничего не могут, не смогут изменить: в девять лет у меня были удалены способности испытывать некий трепет, как говорят, свойственный нашей природе. Через десять лет в Педагогическом институте от этого страха вскакивали среди ночи в ужасе или неистовой ярости лучшие мои друзья; я дрых. как пономарь.

После тяжелой болезни один из них уверял нас, что познал все муки агонии до последнего вздоха включительно. Самым одержимым был

Низан: иногда наяву он видел себя трупом: он поднимался, в глазах его кишели черви, хватал, не глядя, свою щегольскую шляпу с круглой тульей, исчезал: через два дня его находили пьяным в компании каких-то незнакомцев. Иногда, отрываясь от книг, эти смертники делились опытом бессонных ночей, предчувствием небытия — они понимали друг друга с полуслова. Я слушал, я любил их, и мне безумно хотелось быть равным среди равных, но, как я ни старался, до меня доходили только банальности, которыми обмениваются на похоронах: сейчас живешь — сейчас умрешь, кому жить, кому умереть; за час до смерти еще живешь. Я не сомневался, что в их словах есть какой-то ускользающий от меня смысл; я был изгоем, я молчал, завидуя. Кончалось тем, что, заранее сердясь, они спрашивали: «Ну, а ты? Тебя это не трогает?» Я разводил руками, беспомощно и униженно. Они раздраженно смеялись, им застила взор очевидность, которой не удавалось поделиться со мной: «И ты никогда не думал, засыпая, что некоторые люди умирают во сне? Тебе не приходит в голову, когда ты чистишь зубы: ну вот, это в последний раз, мой час пробил? Ты никогда не ощущал, что надо спешить, спешить, спешить, что времени нет?

Ты что, считаешь себя бессмертным?» Я отвечал, наполовину из вызова, наполовину по привычке: «Факт, я считаю себя бессмертным». Чистое вранье — я был застрахован от случайной кончины, только и всего; святой дух дал мне долгосрочный заказ, он должен дать мне и время для выполнения. Предназначенный в почетные покойники, я был застрахован самой моей смертью от крушений, кровоизлияний, перитонита; мы с ней условились о дате свидания, явившись слишком рано. я не найду ее; друзья могли сколько угодно упрекать меня, что я никогда не думаю о смерти, — им было невдомек, что я ни на минуту не перестаю ею жить.

Сегодня я признаю их правоту, они полностью приняли условия человеческого существования, включая тревогу; я предпочел душевное спокойствие; в сущности, я действительно считал себя бессмертным; я заранее убил себя, потому что только покойники могут наслаждаться бессмертием. Низан и Майо знали, что стану г жертвами зверского нападения, что, живые, полнокровные, они будут отторгнуты от мира. А я занимался самообманом: чтобы лишить смерть ее варварского характера, я решил видеть в ней свою цель. а в жизни — единственный известный способ уме-

реть. Я полегоньку близился к кончине, зная, что надежды и желания мне строго отмерены для заполнения моих книг, уверенный, что последний порыв моего сердца впишется в последний абзац последнего тома моих сочинений, что смерти достанется уже мертвец. Низан в двадцать лет глядел на женщин и машины, на блага мира с жадностью отчаяния: он торопился все увидеть, все взять немедленно. Я тоже глядел, однако скорее из прилежания, чем с вожделением, — моим земным уделом были не удовольствия, а подведение баланса. Я устроился, пожалуй, слишком удобно: из робости чересчур смирного ребенка, из трусости я уклонился от риска открытого, свободного, не обеспеченного провидением существования, я уверил себя, что все установлено заранее, более того, что все уже в прошлом.

Эта мошенническая операция избавляла, разумеется, о г соблазна полюбить себя. Угроза уничтожения заставляла каждого из моих друзей укрываться в настоящем, проникаясь сознанием неповторимости своей смертной жизни, каждый видел в себе существо трогательное, драгоценное, единственное: каждый нравился себе; я же. мертвец, себе не нравился: я находил себя заурядным, еще более скучным, чем великий Корнель,

и моя индивидуальность субъекта была в моих глазах интересна лишь постольку, поскольку подготавливала мгновенье, которое превратит меня в объект. Значит ли это. что я был скромнее? Ничуть — просто хитрее: любовь к себе я препоручал потомкам; в один прекрасный день я трону, не знаю чем, сердце мужчин и женщин, которых еще нет на свете, я дам им счастье. Я был еще изворотливее, еще коварнее: исподтишка я спасал эту жизнь, наводившую скуку на меня самого, низведенную мною до роли орудия смерти; я глядел на нее глазами потомков, и она казалась мне трогательной и чудесной историей, прожитой мною для всех, — благодаря мне никому уже не нужно переживать ее заново. Можно удовлетвориться чтением. Я был воистину одержим этим: избрав своим будущим прошлое великого покойника, я пытался жить в обратной последовательности. Между девятью и десятью годами я стал вполне посмертным.

Грех не на мне одном: дед воспитал меня в иллюзии ретроспективности. Да и он, впрочем, невиновен, я отнюдь не в обиде на него, подобный мираж — невольный плод культуры. После смерти свидетелей кончина великого человека навсегда теряет свою внезапность, время пре-

вращает ее в черту характера. Давний покойник мертв по природе, он мертв при крещении ничуть не меньше, чем после соборования, его жизнь принадлежит нам, мы входим в нее с одного конца, с другого, со средины, хотим — поднимаемся, хотим — спускаемся по ее течению: хронология взорвана, невосстановима; персонаж больше ничем не рискует, с него все как с гуся вода. Существование сохраняет видимость развития, но попробуйте оживить мертвеца — вы обнаружите, что все события его жизни для вас одновременны. Тщетно попытаетесь вы встать на место ушедшего, делая вид, что разделяете его страсти, заблуждения, предрассудки, восстанавливая сопротивление, впоследствии сломленное, мимолетную досаду или опасение, все равно вы будете оценивать поведение покойного в свете результатов, которые нельзя было предвидеть, и сведений, которыми он не располагал, вы все равно будете придавать особое значение событиям, оказавшимся впоследствии поворотными, хотя для него самого они промелькнули незаметно. Вот вам и мираж — будущее реальнее настоящего. Не следует удивляться: жизнь прожита и начало судят по концу. Покойник остается на полпути между бытием и его ценностью, между

грубым фактом и его воссозданием, кривая жизни замкнута, и сущность истории резюмирована в каждой точке этой окружности. В салонах Арраса молодой адвокат, холодный и манерный. держит под мышкой собственную голову — ведь это покойный Робеспьер; голова истекает кровью, не пачкая ковра; ее не замечает ни один из гостей, но мы только ее и видим; понадобится пять лет, чтоб она скатилась в корзинку, а она перед нами — отрубленная, декламирующая мадригалы, несмотря на сломанную челюсть. Если этот оптический обман установлен, он перестает быть помехой: мы можем внести необходимую поправку. Но в ту эпоху служители культуры его маскировали, питая им свой идеализм. Когда великая идея решает явиться на свет, она присматривает себе во чреве женщины великого человека, который станет ее провозвестником; она выбирает ему семью, среду, точно отмеряет понимание и ограниченность близких, регламентирует образование, мазок за мазком выписывает мятущийся характер, подвергает его необходимым испытаниям, и твердой рукой направляет порывы, пока предмет столь неусыпных забот не разрешится ею от бремени. Это не декларировалось, но все наталкивало на мысль,

что в сцеплении причин и следствий скрывается другая последовательность, обратная.

Я с восторгом воспользовался этим миражем, чтобы окончательно застраховать свою судьбу. Я взял время, перевернул его с ног на голову — и все стало на свое место. Начало было положено темно-синей книжечкой с потускневшими золотыми завитушками, плотные страницы которой пахли тленом, она называлась «Детство знаменитых людей»; надпись удостоверяла, что мой дядя Жорж получил ее в 1885 году как вторую награду за успехи в арифметике. Впервые я обнаружил ее в эпоху моих экзотических путешествий, перелистал, отбросил в досаде: эти юные избранники были далеко не вундеркиндами; у них не было со мной ничего общего, кроме пресных добродетелей, — чего ради о них рассказывать. В конце концов книжка исчезла — я наказал ее, забросив подальше. Год спустя я переворошил все полки, чтобы ее найти; я изменился, вундеркинд стал великим человеком в ярме детства. Странное дело — изменилась и книга. Слова были те же, но я относил их к себе. Я почувствовал, что эта штука меня погубит, она меня отталкивала и страшила. Ежедневно, еще не раскрыв ее, я усаживался лицом к окну — в случае опасности я омою глаза

настоящим дневным светом. Как смешны мне сейчас те, кто сожалеет о дурном влиянии «Фантомаса» или Андре Жида, неужто они не знают, что дети сами находят свою отраву? Я глотал ее с безрадостным упорством наркомана. На вид она была, однако, совершенно безобидной. Она поощряла юных читателей: будь послушен, почитай родителей, и достигнешь всего, можешь даже стать Рембрандтом или Моцартом; в коротких новеллах говорилось о вполне обычных занятиях вполне обычных, но чувствительных и благочестивых мальчиков, звавшихся Жан, Жан-Жак или Жан-Батист, — все они, как и я, составляли счастье своих родных. Но вот в чем яд: исподволь, не понимая имен Расина, Руссо или Мольера, автор пускал в ход все свое искусство, намекая, что они станут великими, походя небрежно напоминал о самых прославленных их произведениях или деяниях и так монтировал повествование, что ничтожнейший случай воспринимался в свете грядущих событий; в будничную суету внезапно вторгалась напряженная тишина чудесного преображения — будущее. Некоему Санти до смерти хотелось повидать папу; он добился, чтоб его повели на площадь в день, когда святой отец проходил по ней. Мальчик стоял бледный,

вытаращив глаза, наконец кто-то его спросил: «Надеюсь, ты доволен, Рафаэлло? Ты хоть рассмотрел нашего святого отца?» Но он отвечал с отсутствующим видом: «Какого святого отца? Я видел только краски!» Маленькому Мигелю, мечтавшему о воинской карьере, однажды случилось сидеть под деревом, наслаждаясь рыцарским романом, как вдруг он подскочил от громового лязга железа: то был старый безумец, живший по соседству, нищий дворянин, который, гарцуя на дряхлом одре, целил в мельницу своим ржавым копьем. За обедом Мигель так мило рассказал о случившемся, он так забавно подражал несчастному, что все покатывались со смеху; однако потом в своей комнате он швырнул роман на пол, топтал его ногами и долго горько плакал.

Эти дети заблуждались, они считали, что говорят и поступают, как им на ум взбредет, а на самом деле малейшее их высказывание имело реальную цель — оно предвещало уготованную им судьбу. За их спиной мы с автором обменивались растроганной улыбкой; я читал жизнеописания этих мнимых посредственностей так, как они были задуманы богом — начиная с конца.

Сначала я ликовал — то были мои братья, их слава была суждена мне. И вдруг все смешалось;

я оказался по ту сторону, *внутри книги*: детство Жан-Поля походило на детство Жан-Жака или Жан-Батиста; что б он ни делал, все было многозначительным предзнаменованием. Только на этот раз автор подмигивал моим внучатым племянникам. Эти будущие дети, которых я даже не представлял себе, обозревали меня от смерти до рождения, я безостановочно направлял им знаменья, непонятные мне самому. Я вздрагивал, пронзенный ледяным дыханием смерти, обуславливавшей каждое мое движение; лишенный права собственности на себя самого, я пытался выбраться из книги, вновь стать читателем, я поднимал голову, я обращался за помощью к дневному свету, но и *это тоже* было знаменьем, внезапное беспокойство, тревога, движение глаз и шеи — как истолкуют все это в 2013 году те. у кого будут оба ключа ко мне: творчество и кончина? Я не мог отделаться от книги, я давно прочел ее, но оставался одним из персонажей. Я себя выслеживал: час тому назад я болтал с матерью — что я предрек? Я вспоминал отдельные слова, произносил их вслух — никакого толку. Фразы скользили, я ничего не мог извлечь из них; собственный голос звучал в моих ушах, как чужой, в моей голове пиратствовал, похищая мысли,

плутоватый ангелок — белобрысый мальчишка XXX века, который, сидя у своего окна, наблюдал меня через книжку. Содрогаясь от любви, я ощущал, как его взгляд настигает меня в моем тысячелетии и накалывает на булавку. Я подделывался под него, я выдавал на публику фразы с подтекстом. Входила Анн-Мари, я что-то строчил за пюпитром, она говорила: «Как тут темно! Ты испортишь глаза, милый». Я пользовался этим, чтобы ответить невзначай: «Я мог бы писать и во мраке». Она смеялась, называла меня дурашкой, зажигала свет. Неизбежное свершилось ни я, ни она не знали, что трехтысячный год уведомлен о недуге, который ждет меня. В самом деле, на исходе жизни, мучимый слепотой, более тяжкой, чем глухота Бетховена, я наощупь буду работать над последним трудом — рукопись найдут в моих бумагах, люди скажут разочарованно: «Но это невозможно прочесть!» Кто-то предложит даже выбросить ее на помойку. В конце концов она будет взята на хранение муниципальной библиотекой Орильяка исключительно в знак уважения к автору; забытая, рукопись пролежит сто лет. Потом однажды из любви ко мне молодые эрудиты попытаются ее расшифровать, целой жизни им не хватит, чтоб восстановить

то, что, разумеется, было лучшим из всего мной созданного. Мать уже вышла из комнаты; один, я повторял для себя самого медленно и, главное, совершенно механически: «Во мраке!» Раздавался сухой щелчок — мой далекий праправнучатый племянник захлопывал книгу; он грезил о жизни своего двоюродного прапрадеда, слезы текли по его щекам. «И это свершилось, Жан-Поль писал во мраке», — вздыхал он.

Я красовался перед детьми, которым предстояло родиться, похожими на меня как две капли воды. Я проливал слезы при мысли, что они будут плакать надо мной. Их глазами я видел свою смерть: она была уже позади, она раскрыла мое «я», я превратился в собственный некролог.

Прочтя все это, один из друзей посмотрел на меня обеспокоенно: «Вы, оказывается, были больны еще серьезней, чем я думал». Болен? Право, не знаю. Мой бред был явно разработан. На мой взгляд, важней всего здесь, пожалуй, вопрос об искренности. В девять лет я еще не дорос до нее, потом оставил далеко позади.

Вначале я был здоровехонек, маленький плут. умевший вовремя остановиться. Но я не жалел сил и даже в блефе оставался первым учеником; я расцениваю теперь свое паясничание как ду-

ховную гимнастику, свою неискренность — как карикатуру на абсолютную искренность, которая была где-то рядом и Все время ускользала от меня. Я не *выбрал* призвание, мне его навязали. Ничего в сущности не случилось: какие-то слова, брошенные вскользь старой женщиной, макиавеллизм Шарля. Но этою оказалось достаточно, чтоб меня убедить. Взрослые, угнездившиеся в моей душе, указывали пальцем на мою звезду; звезды я не видел, но палец видел и верил им, якобы верившим в меня. От них я узнал о существовании великих покойников — одного смерть еще ждала — Наполеона, Фемистокла, Филипп Августа, Жан-Поля Сартра. Усомниться в этом значило усомниться во взрослых. С Жан-Полем я был не прочь познакомиться поближе. Ради этого я корчился в муках самораскрытия, которое наконец принесло бы мне удовлетворение, — так холодная женщина, извиваясь всем телом, взывает к оргазму, а потом пытается подменить его судорогами. Что ж это — симуляция или просто излишнее прилежание? Как бы там ни было, я ничего не добился; казалось, вот-вот придет озарение, которое раскроет мне меня самого, но оно ускользало, и я выносил из своих упражнений ощущение зыбкости, они только расшатывали

мою нервную систему. Ничто не могло ни утвердить, ни аннулировать моих полномочий, так как они зиждились на авторитете взрослых, на их неоспоримом доброжелательстве. Неприкосновенный, засургученный мандат был сокрыт во мне, но принадлежал мне столь мало, что я не мог ни на мгновение усомниться в нем, не в моей власти было отвергнуть или принять его.

Как ни глубока вера, она никогда не бывает полной. Ее необходимо беспрестанно поддерживать или, во всяком случае, не давать ей разрушаться. Моя участь была предрешена, я *был* знаменитостью, у меня *была* могила на кладбище Пер-Лашез, а возможно, даже в Пантеоне, мой проспект в Париже, мои бульвары и площади в провинции, за границей; но сердцевину оптимизма незримо, неслышно подтачивало сомнение, я подозревал себя в несостоятельности. В госпитале святой Анны один больной громко кричал: «Я принц! Приказываю арестовать великого герцога!» К его постели подходили, шептали на ухо: «Высморкайся!» Он сморкался; его спрашивали: «Ты кто по профессии?», он тихо отвечал: «Сапожник», — и снова принимался вопить. По-моему, все мы похожи на этого человека, во всяком случае, я на девятом году жизни походил на него: я

был принцем и сапожником.

Через два года я, на первый взгляд, выздоровел; принц исчез, сапожник ни во что не верил и даже не писал; выброшенные на помойку, потерянные, сожженные тетради для романов уступили место тетрадям для грамматического разбора, диктантов и арифметики. Если бы кому-нибудь удалось проникнуть в мою голову, открытую всем ветрам, он нашел бы несколько бюстов великих людей, нетвердо выученную таблицу умножения и тройное правило, тридцать два департамента с административными центрами, но без супрефектур, некую розу, именуемую розарозарозамрозэрозэроза, исторические и литературные памятники, несколько правил поведения, высеченных на стелах, и изредка — садистскую игру воображения, застилающую этот унылый вертоград пеленой тумана. Никаких сироток. Ни следа паладинов. Слов «герой», «мученик», «святой» не слышно, не видно. Экс-Пардальян получал каждый триместр справку об удовлетворительном состоянии здоровья: ребенок среднего умственного развития и высокой нравственности, способности к точным наукам слабые, воображение развито, но не чрезмерно, чувствителен; вполне нормален, несмотря на ло-

мание, впрочем заметное все меньше и меньше. На самом деле я совершенно спятил. Я утратил остатки разума в результате двух событий, одно из них носило общественный характер, другое — частный.

Первое было полной неожиданностью в июле 1914 года еще насчитывалось несколько скверных людей, но 2 августа внезапно добродетель захватила власть и взошла на престол — все французы стали хорошими. Враги деда бросались ему в объятия, издатели пошли в добровольцы, мелкий люд пророчествовал, наши друзья, приходя, повторяли простые и мудрые слова своего привратника, почтальона, водопроводчика, все громко выражали восхищение, кроме бабушки, особы явно подозрительной, Я был в восторге: Франция играла для меня комедию, я представлял комедию для нее. Однако война мне быстро наскучила, она гак мало нарушала распорядок моей жизни, что я наверняка и не вспоминал бы о ней, но я проникся к войне отвращением, заметив, что она лишила меня книг. Мои любимые издания исчезли из киосков; Арну Галопен, Жо Валь, Жан де ла Ир расстались со своими любимыми героями, подростками, моими братьями, которые совершали кругосветные путешествия на би-

плане или гидросамолете, сражались вдвоем или втроем против сотни. Колониалистские романы предвоенной эпохи уступили место романам военизированным, населенным юнгами, сиротами, юными эльзасцами, кумирами своей части. Я возненавидел новых пришельцев. В маленьких искателях приключений я видел вундеркиндов, ведь они убивали туземцев в джунглях, а туземцы — это, в конце концов, тоже взрослые; сам вундеркинд, я узнавал в них себя. А чего стоили все эти сыновья полка? События развивались независимо от них. Индивидуальный героизм был поколеблен: в борьбе против дикарей он опирался на превосходство вооружения, а что можно противопоставить немецким пушкам? Нужны другие пушки, артиллеристы, армия. Среди храбрых солдатиков, опекавших и поглаживавших его по головке, вундеркинд впадал в детство и я вместе с ним. Время от времени автор из жалости поручал мне отнести донесение, немцы брали меня в плен, я стойко держался, потом убегал, добирался до своих позиций, докладывал об исполнении задания. Меня, конечно, поздравляли, но без подлинного энтузиазма, и в отеческом взгляде генерала я не находил слепого восторга вдов и сирот. Я утратил инициативу: сражения

были выиграны, война будет выиграна без меня; взрослые вновь захватили монополию на героизм. Мне случалось подобрать ружье убитого и сделать несколько выстрелов, но ни разу Арну Галопен и Жан де ла Ир не позволили мне пойти в штыковую атаку. Герой-подмастерье, я с нетерпением ждал призывного возраста. Впрочем, нет, то был не я, ждал сын полка, эльзасский сирота. Я проводил между нами черту, я закрывал книжку. Писать — долгий неблагодарный труд, я знал, что мне предстоит это, и был полон терпения. Но чтение — праздник; я хотел, чтоб слава во всем блеске была мне дана тотчас. А какое будущее мне предлагали? Стать солдатом? Веселое дело! От отдельного пехотинца зависело не больше, чем от ребенка. Он шел в атаку вместе с другими, бой выигрывал полк. Меня не устраивало быть участником коммунальных побед. Когда Арну Галопен хотел отличить бойца, он не мог придумать ничего умнее, как послать его на выручку раненому капитану. Эта слепая преданность меня раздражала — раб спасал хозяина. И потом это было геройство по случаю: во время войны паек храбрости выдается всем; выпади эта честь другому, он управился бы не хуже. Я негодовал. В предвоенном героизме меня пленяли больше

всего индивидуализм и бескорыстие, я забывал о бледных будничных добродетелях, я щедро перекраивал человека на свой манер. «Вокруг света на гидросамолете», «Приключения парижского мальчишки», «Три бойскаута» — эти священные тексты вели меня по пути смерти и воскресения. И вот их авторы меня предали: они сделали героизм общедоступным; мужество и самоотверженность стали будничными добродетелями; хуже того, они были низведены до уровня элементарного долга. Соответственно изменились и декорации — коллективные туманы Аргонн пришли на смену огромному неповторимому солнцу и индивидуалистскому свету экватора.

После нескольких месяцев перерыва я решил вновь взяться за перо, чтоб написать роман в своем вкусе и преподать урок этим господам. Стоял октябрь 1914 года, мы еще не уехали из Аркашона. Мать купила мне тетради. Все совершенно одинаковые: на сиреневой обложке Жанна д'Арк в шлеме. примета времени. Под эгидой девственницы я начал сочинять историю солдата Перрена; он похищал кайзера, притаскивал его связанным в наши окопы, потом перед всем полком вызывал на поединок, повергал ниц и заставлял, приставив нож к горлу, подписать

позорный мир, вернуть нам Эльзас-Лотарингию. Через неделю повествование наскучило мне до одури. Идея дуэли была мной позаимствована из романов плаща и шпаги: Сторт-Беккер, потомок благородного семейства, изгнанник. заходил в разбойничью таверну; оскорбленный геркулесом, главарем банды, он убивал его ударом кулака, сам становился атаманом и ловко спасался со своим войском на пиратском корабле. Действие развивалось по неизменному и строгому канону — полагалось, чтобы поборник зла слыл непобедимым, чтобы защитник добра дрался под улюлюканье, чтобы насмешники леденели от ужаса при его неожиданной победе. Но я по неопытности нарушил все правила и добился прямо противоположного результата: кайзеру, мужчине довольно кряжистому, было все же далеко до профессионального борца, каждый заранее догадывался, что Перрену, первоклассному атлету, победить его — раз плюнуть. Да и публика была настроена враждебно, наши солдатики вопили, не скрывая ненависти к кайзеру; я был огорошен поворотом дела — Вильгельм II. преступный, но всеми покинутый, оскорбленный и оплеванный. узурпировал на моих глазах царственное одиночество моих героев.

Но были вещи и похуже. До сих пор ничто не подтверждало и ничто не опровергало моих, как выражалась Луиза, «небылиц»: Африка была огромна, далека, малонаселена, связи с ней не было, никто не мог доказать, что моих путешественников там нет, что они не палят в пигмеев в ту самую минуту, когда я повествую о сражении. Я не мнил себя, конечно, их историографом, но, наслушавшись бесконечных разговоров о правдивости художественной прозы, я уверовал в правду собственных вымыслов; как это получалось, я и сам пока не понимал, зато моим читателям все будет ясно как на ладони. Злосчастный октябрь сделал меня беспомощным свидетелем столкновения фикции и действительности. Кайзер, родившийся под моим пером, был побежден и отдавал приказ о прекращении огня; логика *требовала*, чтоб эта осень принесла нам мир; но газеты и взрослые, как нарочно, с утра до вечера твердили, что война затягивается, что это надолго. Я почувствовал себя обманутым, я был лжецом, россказням которого никто не захочет верить, — короче, я столкнулся с вымыслом. Впервые я перечитал себя. С краской стыда. Неужели мне — *мне* — нравились эти детские выдумки? Я едва не отказался от литературы. В

конце концов я снес тетрадку на пляж и зарыл в песок. Смятение улеглось; я вновь поверил в себя — я рукоположен, нет сомнений, но у изящной словесности есть свои секреты, в один прекрасный день она мне их откроет. Пока возраст обязывал меня к осмотрительности. Больше я не писал.

Мы вернулись в Париж. Я навсегда расстался с Арну Галопеном и Жаном де ла Иром: я не мог простить этим оппортунистам, что они, а не я. оказались правы. Я разобиделся на войну, эпопею посредственности; в досаде я отверг современность и укрылся в прошлом. За несколько месяцев до того, в конце 1913 года, я наткнулся на Ника Картера, Буффало Билла, техасца Джека, Ситтинг Буля. С началом военных действий эти издания исчезли: дед считал, что издателем был немец. К счастью. на набережной у букинистов можно было найти почти все выпуски, успевшие появиться. Я тянул мать на берег Сены, мы рылись на всех развалах от вокзала д'Орсэ до Аустерлицкого вокзала, случалось, мы приносили домой сразу пятнадцать книжечек; вскоре у меня набралось около пятисот выпусков. Я раскладывал их ровными стопками и не уставал пересчитывать, произнося вслух таинственные

заголовки: «Преступление на воздушном шаре», «Договор с дьяволом», «Рабы барона Мутушими», «Воскресение Дазаара». Мне нравились пожелтевшие, испачканные, замусоленные страницы, источавшие странный запах опавших листьев, — *это и были* опавшие листья, останки минувшего, поскольку война положила всему конец; я понимал, что последнее приключение человека с длинными волосами так и останется мне неизвестным, что мне никогда не узнать, чем увенчались последние розыски короля сыщиков; эти одинокие герои, как и я. были жертвами мирового конфликта, и за это я любил их еще сильнее. Достаточно мне было увидеть цветные гравюры на обложке, и я пьянел от радости. Буффало Билл мчался на коне по прериям, преследуя индейцев или спасаясь от них. Больше всего нравились мне иллюстрации к Нику Картеру. На первый взгляд они качались однообразными: либо великий сыщик крушит врагов, либо они его колотят. Но эти драки происходили на улицах Манхеттена, на пустырях, упирающихся в бурые ограды или хрупкие кубические конструкции цвета высохшей крови; завороженный, я представлял себе пуританский и кровавый город, за которым угадывались бескрайние пространства

саванны, грозившие его поглотить. Преступление и добродетель здесь были равно вне закона; убийца и защитник правосудия, равно свободные и независимые, объяснялись в ночи ударами ножа. В этом городе, как на экваторе, солнце испепеляло, героизм становился непрерывной импровизацией — отсюда идет моя любовь к Нью-Йорку.

Я позабыл и о войне, и о своих полномочиях. Если меня спрашивали: «Что ты будешь делать, когда вырастешь?» — я любезно и скромно отвечал, что буду писать, но мечты о славе и духовную гимнастику я оставил. Может быть, именно благодаря этому первые годы войны были самыми счастливыми годами моего детства. Мы с матерью были ровесниками и не расставались. Она называла меня своим кавалером, своим маленьким мужчиной, я рассказывал ей обо всем. Больше, чем обо всем: литература, загнанная вглубь, обернулась болтовней, она рвалась наружу, я не умолкал, я описывал все, что видел и что Анн-Мари видела не хуже меня, — дома, деревья, людей; я приписывал себе всевозможные чувства ради удовольствия поделиться ими с ней, я превратился в трансформатор энергии, мир пользовался мной, чтоб стать словом. Начи-

налось с некоего лепета у меня в голове — кто-то говорил: «Я иду, я сажусь, я пью воду, я ем засахаренный миндаль». Я повторял вслух этот нескончаемый комментарий: «Я иду, мама, я пью воду, я сажусь». Казалось, у меня два голоса, из которых один, почти не принадлежащий мне и не зависящий от моей воли, диктует другому свои речи; я решил, что раздваиваюсь. Такое странное состояние продолжалось до лета, оно утомляло меня, раздражало, в конце концов я стал испытывать страх. «Что-то говорит у меня в голове», — сказал я матери, она, по счастью, не проявила беспокойства.

Это не омрачало ни моей радости, ни нашего согласия. У нас возникли собственные мифы, словечки, излюбленные шутки. На протяжении почти целого года по крайней мере одну фразу из десяти я заключал с иронической покорностью: «Но это неважно». Я говорил: «Вот большая белая собака, она не белая, а серая, но это неважно». Мы завели манеру оповещать друг друга в эпическом стиле о ничтожнейших событиях, случавшихся с нами. Мы говорили о себе в третьем лице множественного числа. Мы ждали автобуса, он проезжал мимо, не останавливаясь, тогда один из нас возглашал: «Земля содрогнулась от их

проклятий, посланных небесам», — и мы принимались хохотать. На людях нам достаточно было подмигнуть друг другу, чтобы почувствовать себя сообщниками. В магазине или в кондитерской продавщица казалась нам смешной, мать говорила, выйдя: «Я не смотрела на тебя, боялась фыркнуть ей в лицо». Я гордился своим могуществом — не многие дети могут одним взглядом заставить мать фыркнуть. Оба робкие, мы и пугались вместе; однажды на набережной я обнаружил двенадцать еще не читанных мною выпусков Буффало Билла; мать собиралась заплатить за них, когда подошел мужчина в канотье, жирный, бледный, с угольно-черными глазами и нафабренными усами. Со сладкой улыбкой, которой пленяли красавцы той эпохи, он уставился на мать, но обратился ко мне и забормотал скороговоркой: «Балуют тебя, малыш, балуют». Сначала я только оскорбился, я не привык, чтоб посторонние так быстро переходили со мной на «ты»; но я поймал его маниакальный взгляд, и тотчас Анн-Мари и я стали одним существом — испуганной девушкой, отпрянувшей в сторону. Он был сбит с толку и удалился; я забыл тысячи лиц, но эту физиономию, белую, как нутряное сало, помню до сих пор; я ничего не знал о жизни

плоти и не представлял себе, чего хочет от нас этот господин, но очевидность желания такова, что я, казалось, это понял, передо мной были как бы сорваны все покровы. Я ощутил его желание через Анн-Мари; через нее я научился чуять самца, бояться его, ненавидеть. Этот случай укрепил нашу связь; я шагал с суровым видом, держа мать за руку, уверенный, что оберегаю ее. И не память ли это о тех годах: еще и сейчас мне приятно видеть, как чересчур серьезный мальчик важно и нежно беседует со своей матерью-ребенком: мне нравится эта трогательная пугливая дружба, возникающая вдали от мужчин и направленная против них. Я не могу глаз оторвать от этих пар, излучающих дух детства, потом вспоминаю, что я мужчина, и отворачиваюсь.

Второе событие относится к октябрю 1915 года; мне было десять лет и три месяца, дольше нельзя было держать меня под домашним арестом. Шарль Швейцер смирил свои обиды и записал меня в подготовительный класс лицея Генриха IV в качестве экстерна.

Первое же сочинение определило мое последнее место в классе. Юный феодал, я воспринимал обучение как форму личной зависимости — мадемуазель Мари-Луиза передавала мне знания из

любви ко мне, я по доброте своей, из любви к ней принимал их. Лекции с кафедры, адресованные всем, демократическая холодность закона меня обескуражили. Постоянные сравнения были не в мою пользу — вымышленное превосходство разлетелось в прах, всегда находился кто-то, отвечавший лучше и быстрее меня. Слишком избалованный любовью, чтоб усомниться в себе, я чистосердечно восхищался товарищами и не завидовал им — придет и мой черед. В пятьдесят лет. Короче, я опускался, ничуть не страдая; в холодном раже я усердно сдавал отвратительные работы. Дед уже хмурил брови; мать поспешила встретиться с господином Оливье, моим классным наставником. Он принял нас в своей холостяцкой квартирке; в голосе матери зазвучали певучие ноты; я стоял около ее кресла и слушал, глядя на солнце сквозь пыльные стекла. Она попыталась доказать, что я стою больше, чем мои школьные работы: я сам научился читать, я писал романы; исчерпав аргументы, она призналась, что я родился десятимесячным — лучше проварился, чем другие, лучше пропекся, подрумянился, поскольку дольше оставался в печи. Чувствительный скорее к ее прелестям, чем к моим достоинствам, господин Оливье внимательно

слушал. Это был высокий, костлявый мужчина, лысый, с крупным черепом, ввалившимися глазами, восковым лицом и несколькими рыжими волосками под орлиным носом. Он отказался давать мне частные уроки, но обещал «последить». Большего я и не просил; я ловил его взгляд на уроках; он говорил для меня одного, я был убежден в этом; я поверил, что он меня любит, я любил его, несколько добрых слов довершили дело — я без труда стал довольно приличным учеником. Дед ворчал, просматривая мои отметки за триместр, но уже не думал забирать меня из лицея. В пятом классе учителя сменились, я утратил особое расположение, но уже успел приноровиться к демократии.

Писать мне было некогда из-за школьных занятий, да и охота пропала — у меня появились новые знакомства. Наконец-то у меня были товарищи! Меня, изгоя городских садов, приняли здесь с первого дня и самым естественным образом, я не мог опомниться. Говоря по правде, новые друзья походили на меня куда больше, чем юные Пардальяны, разбившие мое сердце, — то были экстерны, маменькины сынки, прилежные ученики. Неважно, я торжествовал. Я вел двойную жизнь. Дома продолжал корчить из себя

мужчину. Но дети, когда они одни, не выносят инфантильности, они настоящие мужчины. Мужчина среди мужчин, я ежедневно выходил из лицея вместе с тремя Малакенами — Жаном, Рене и Андре, — Полем и Норбером Мейрами, Бреном, Максом Берко, Грегуаром; крича, неслись мы на площадь Пантеона, то была минута проникновенного счастья, я смывал с себя семейное комедиантство; отнюдь не стремясь блистать, я охотно вторил смеху товарищей, подхватывал команды и остроты, молчал, слушался, копировал повадки тех, кто был рядом, страстно стремился к одному: не выделяться. Собранный, твердый, веселый, я чувствовал, что отлит из стали, что грех существования мне наконец отпущен. Мы играли в мяч между отелем «Великих людей» и памятником Жан-Жаку Руссо, я был незаменим; теперь мне нечего было завидовать господину Симонно: кому бы дал пасовку Мейр, обводя Грегуара, если бы *здесь сейчас* не было *меня*? Какими никчемными и мрачными казались мои мечты о славе рядом с этими молниями прозрений, освещавшими мне мою необходимость.

К несчастью, они гасли быстрее, чем вспыхивали. По мнению наших матерей, игры нас «слишком возбуждали», из разрозненных особей

возникало единое скопище, в котором каждый терял себя; но надолго забыть о родителях нам никогда не удавалось — их невидимое присутствие быстро возвращало нас к групповому одиночеству колоний животного мира. В нашем сообществе, лишенном стремлений, цели, иерархии, мы то полностью сливались, то просто сосуществовали рядом. Вместе мы жили подлинной жизнью, но мы не могли отделаться от ощущения, что даны друг другу лишь взаймы, а на самом деле принадлежим каждый к особому, замкнутому коллективу, могущественному и примитивному, который выковывает свои собственные завораживающие мифы, питается самообманом и навязывает нам свой произвол. Балованные и благонамеренные, чувствительные, рассудительные, воспитанные в уважении к порядку и в ненависти к насилию и несправедливости, сплоченные и разъединенные молчаливой уверенностью, что мир создан для нас и что родители каждого соответственно лучшие в мире, мы заботились о том, чтобы никого не обидеть, чтоб оставаться вежливыми даже в игре. Издевка и подзуживание сурово осуждались; того, кто зарывался, обступали гурьбой, успокаивали, заставляли извиниться; устами Жана Малакена

или Норбера Мейра его журила собственная мать. Кстати, эти дамы встречались между собой и спуску друг другу не давали. Они пересказывали наши разговоры, оценки, критические замечания каждого обо всех; мы, сыновья, никогда не повторяли их суждений. Моя мать вернулась оскорбленной от госпожи Малакен, которая заявила ни больше, ни меньше: «Андре считает Пулу ломакой». Меня это не задело, так говорят матери; на Андре я не обиделся и даже не заикнулся ему об этой истории. Короче, мы уважали вс и вся, богатых и бедных, солдат и штатских, молодых и старых, людей и зверей; презирали мы только тех, кто был на полупансионе и в интернате: наверно, они здорово провинились, если семья от них отказалась; может быть, у них были дурные родители, но это ничего не меняло — —дети имеют отцов, которых заслуживают. Недаром вечерами, после четырех, когда вольные экстерны покидали лицей, он превращался в разбойничий притон.

Осмотрительность вносит в дружбу холодок. На каникулах мы расставались без особых сожалений. А ведь я любил Берко. Сын вдовы, красивый, хрупкий, тихий, он был мне как брат. Я любовался его длинными черными волосами,

причесанными на манер Жанны д'Арк. Но главное, мы оба были горды тем, что все на свете прочли. Уединившись в глубине школьного двора, мы беседовали о литературе, то есть в сотый раз с неизменным удовольствием перечисляли произведения, побывавшие у нас в руках. Однажды он бросил на меня взгляд одержимого и признался, что собирается писать. Нам довелось встретиться с ним снова в классе риторики, он был все так же красив, но болен туберкулезом: он умер восемнадцатилетним.

Все мы, даже мудрый Берко, восхищались Бенаром, зябким кругленьким мальчиком, похожим на цыпленка. Слух о его достоинствах дошел и до наших матерей; несколько раздосадованные, они не уставали ставить его нам в пример, так и не добившись, чтоб мы отвернулись от него. Судите сами, каково было наше к нему пристрастие: он числился на полупансионе, но мы любили его за это еще больше, мы избрали его в почетные экстерны. Вечерами при свете домашней лампы мы думали об этом миссионере, оставшемся в джунглях, чтобы обратить каннибалов интерната, и нам было не так страшно. Справедливости ради следует сказать, что его любили и в интернате. Мне трудно сейчас понять причины подобно-

го единодушия. Бенар был мягок, приветлив, чувствителен; притом он шел первым по всем предметам. К тому же его мама жертвовала собой ради него. Наши матери не водили знакомства с этой портнихой, но часто ссылались на нее, чтоб мы оценили величие материнской любви; мы же думали только о Бенаре: он был ее единственная утеха, один свет в окошке этой несчастной, мы чувствовали величие сыновней любви, короче говоря, эти благородные бедняки вызывали всеобщее умиление. Но этого было бы недостаточно, главное Бенар жил лишь наполовину; я никогда не видел его без огромного шерстяного платка, он мило улыбался нам, но говорил мало, и я помню, ему запрещали участвовать в наших играх. Я в особенности уважал Бенара за то, что его хрупкость служила барьером между нами; его поместили под стеклянный колпак: он кивал нам, улыбался, но прозрачная преграда не позволяла нам сблизиться; мы нежно лелеяли его издали, ибо еще при жизни он обрел безликость символа. Детству свойствен конформизм: мы были признательны Бенару за то, что в своем совершенстве он дошел до полной утраты индивидуальности. В разговорах с ним мы наслаждались незначительностью его слов; нам не приходилось видеть,

чтоб он обозлился или захохотал во все горло; на уроках он никогда не поднимал руки, но, когда его спрашивали, сама истина говорила его устами, уверенно, бесстрастно — так, как положено говорить истине. Нашу компанию вундеркиндов поражало, что, будучи лучшим, он был лишен всякого вундеркиндства. В ту пору мы все в той или иной степени осиротели: отцы либо умерли, либо воевали, те же, которые оставались дома, утратив мужское превосходство, предпочитали не попадаться на глаза сыновьям, царствовали матери; Бенар был для нас зеркалом негативных добродетелей матриархата.

В конце зимы он умер. Дети и солдаты не думают о мертвых, но мы, все сорок, рыдали над его гробом. Наши матери бдили: бездна была прикрыта цветами; они добились своего — мы восприняли его исчезновение как сверхнаграду за отличные успехи, выданную посредине учебного года. К тому же в Бенаре было так мало жизни, что и смерть показалась ненастоящей — он оставался среди нас в некой вездесущей и священной ипостаси. Наш моральный уровень резко поднялся у нас был наш дорогой усопший. Понизив голос, мы беседовали о нем с меланхолической отрадой. Быть может, и мы, как он,

преждевременно покинем сей мир; мы представляли себе слезы матерей и ощущали, сколь мы драгоценны. Однако не заставила ли меня эта смерть призадуматься? Я смутно помню, что меня потрясла чудовищная очевидность: эта портниха, эта вдова — она ведь потеряла *все*. Действительно ли при этой мысли у меня спирало дыхание от ужаса? Не приоткрылось ли мне существование зла, отсутствие бога, непригодность нашего мира для жизни? Думаю, да, иначе почему из всего моего детства, которое я отверг, забыл, утратил, я с болезненной четкостью удержал в памяти именно образ Бенара?

Несколько недель спустя в пятом классе AI случилось невероятное происшествие: во время урока латыни отворилась дверь, вошел Бенар в сопровождении привратника, поздоровался с господином Дюрри, нашим преподавателем, и сел. Мы все узнали его очки в железной оправе, кашне, нос с небольшой горбинкой, облик зябкого цыпленка — я решил, что бог вернул его нам. Господин Дюрри, казалось, был ошарашен не меньше нас, он прервал объяснения, глотнул воздух и спросил: «Имя, фамилия, в каком качестве поступили, занятие родителей?» Бенар ответил, что он на полупансионе, сын инженера, зовут его

Поль-Ив Низан. Я был поражен больше всех; на перемене я первым подошел к нему, заговорил, он мне ответил; мы сблизились. У меня, правда, возникло предчувствие, что я имею дело не с Бенаром, а с его сатанинским подобием, из-за одной детали — Низан косил. Но было поздно принимать меры предосторожности: я полюбил в его лице воплощение добра, позднее я стал любить Низана за него самого. Я попался в ловушку, склонность к добродетели пробудила во мне нежность к дьяволу. Откровенно говоря, псевдо-Бенар был не таким уж дурным, он жил — вот и все; он сохранил все качества своего двойника в чуть измененном виде: сдержанность Бенара обратилась у него в скрытность; раздираемый бешеными, не находившими внешнего выхода страстями, он никогда не кричал, но бледнел и заикался от ярости; то, что мы принимали за кротость, было просто шоком; его устами выражала себя не истина, а некий объективизм, легкий и циничный, смущавший нас непривычностью; Низан, разумеется, обожал родителей, но, единственный из всех, говорил о них иронически. На уроках он блистал меньше, чем Бенар; зато он много читал и хотел писать. Короче, это была законченная индивидуальность, а для меня ничто не могло

быть удивительней, чем индивидуальность в облике Бенара. Это сходство меня преследовало. Не понимая, следует ли хвалить Низана за то, что он заимствует внешние признаки добродетели, или порицать за то. что это всего лишь внешние признаки, я непрерывно переходил от слепого доверия к беспричинному недоверию. Настоящими друзьями мы стали только много позже, после долгой разлуки.

Эти события и встречи прервали на два года мое самокопание, но не устранили его причин. На самом деле в глубине души все оставалось по-прежнему: я не вспоминал о полномочиях, вверенных мне взрослыми и скрепленных сургучными печатями, но они не теряли силы. Они завладели мной. В девять лет я наблюдал за собой даже в минуты крайнего возбуждения. В десять лет я потерял себя из виду. Я бегал с Бреном, болтал с Берко, с Низаном; предоставленная самой себе, моя мнимая миссия тем временем обрела весомость и потонула во мне: я больше не замечал ее, но сформировала меня она, все подчинилось силе ее притяжения, она сгибала деревья и стены, образуя небесный свод над моей головой. Прежде я принимал себя за принца. Теперь стал им. В этом и заключалось мое безумие. «Невроз

формирования характера», — сказал один из моих друзей, психоаналитик. Он прав: между летом 1914 и осенью 1916 года мои полномочия отлились в характер; бред покинул голову, чтоб перекочевать в кости.

Ничего нового не произошло, все мои вымыслы и предвидения остались в полной неприкосновенности. С одной только разницей: не отдавая себе в этом отчета, безмолвно, вслепую я все *осуществлял*. Раньше я представлял себе свою жизнь в картинках — смерть вызывала мое появление на свет, появление на свет бросало меня навстречу смерти. Как только я перестал все это видеть, я сам стал этой взаимосвязью, я натянулся как струна между двумя оконечностями, рождаясь и умирая при каждом биении сердца. Грядущее бессмертие стало моей конкретной будущностью — оно пронизывало каждое, самое беспечное мое движение. Как бы глубоко меня не поглощало что-либо. оно было еще более всепоглощающим отвлечением, пустотой в полноте, легкой ирреальностью в реальности. Оно на расстоянии убивало вкус карамели во рту, огорчения и радости — в сердце; но зато оно же и спасало каждый самый ничтожный миг, ибо. будучи последним в цепи мгновений, он

еще на шаг приближал меня к бессмертию. Оно даровало мне терпение: мне уже не хотелось перескочить через двадцать лет, перелистать двадцать других, я уже не думал о далеких днях предстоящего триумфа, я ждал. Каждую минуту я ждал минуты ближайшей, так как она тянула за собой следующую. Я жил в безмятежном покое целеустремленности — я опережал самою себя. все меня поглощало. ничто не удерживало. Какое облегчение! Раньше дни мои так напоминали один другой, что мне иногда казалось: я обречен на бесконечное покорение одного и того же. Они не очень-то переменились, сохранили скверную привычку осыпаться, увядая. Но я, Я в них стал иным; теперь не время накатывало на мое неподвижное детство, но я — стрела, пущенная по команде, — прорывал время и летел прямо к цели. В 1948 году в Утрехте профессор Ван Ленеп демонстрировал мне прожективные тесты. Одна таблица привлекла мое внимание, на ней была изображена лошадь в галопе, идущий человек, орел в полете, глиссер, подпрыгивающий на воде — испытуемый должен был указать на рисунок, который создает у него наибольшее ощущение скорости. Я сказал: «Глиссер». Потом с интересом посмотрел на картинку, которая побудила меня

высказаться так определенно: глиссер, казалось, отрывался от поверхности озера, еще мгновение — и он воспарит над этой зыбкой гладью. Я сразу понял, почему мой выбор пал на него: в десять лет я ощутил, что мой форштевень, рассекая настоящее, отрывает меня от него; с той поры я бежал, бегу доныне. Показателем скорости в моих глазах является не столько дистанция, пройденная за определенный отрезок времени, сколько способность оторваться.

Лет двадцать назад Джакометти, переходившего вечером площадь Италии, сшибла машина. Раненный, с вывихнутой ногой, в обморочном ясновиденье, он прежде всего ощутил нечто вроде радости: «Наконец что-то со мной случилось!» Человек крайностей, он ждал худшего; жизнь, которую он любил беспредельно, не желая никакой иной, была перевернута, быть может, поломана дурацким вторжением случая. «Ну что ж, — подумал он про себя, — не судьба мне быть скульптором, не судьба жить, я родился попусту». Но его привело в восторг, что миропорядок внезапно обнажил перед ним свою угрожающую сущность, что он, Джакометти, уловил цепенящий взор стихийного бедствия, устремленный на огни города, на людей, на его собственное

тело, распростертое в грязи. Скульптору всегда представляется близким царство мертвой природы. Меня восхищает подобная готовность к восприятию. Если уж любить внезапности, то любить их именно до такой степени, до этих редких озарений, раскрывающих любителям, что земля создана не для них.

В десять лег я не мечтал ни о чем ином. Мне хотелось, чтоб каждое новое звено моей жизни возникало внезапно, пахло свежей краской. Я был заведомо согласен на препоны и невзгоды; справедливости ради следует сказать, ч то я принимал их с улыбкой. Однажды вечером погасло электричество авария; меня окликнули из другой комнаты, расставив руки. я пошел к двери и, с силой стукнувшись о створку, выбил зуб. Меня это позабавило; несмотря на боль, я засмеялся. Как Джакометти смеялся через много лет над своей ногой, но по причине, диаметрально противоположной. Поскольку я заранее решил, что у моей истории счастливая развязка, все неожиданное играло роль приманки, новизна — обманчивой видимости, порядок вещей был отрегулирован заранее потребностью народов, вызвавшей меня к жизни: в сломанном зубе я усмотрел знак, скрытое предупреждение, которое будет понято мною

позже. Иначе говоря, в любых обстоятельствах, любой ценой я сохранял веру в целесообразность. Рассматривая свою жизнь сквозь призму кончины, я представлял ее себе замкнутой памятью: ничто лишнее не могло в нее проникнуть, ничто нужное не могло из нее выпасть. Можно ли вообразить положение надежнее? Случайности не существовали — по воле провидения я сталкивался только с их подобиями. Судя по газетам, улицы таили смертельную, неведомо откуда возникавшую угрозу для обыкновенного человека; мне. чья судьба предопределена, бояться нечего. Не исключено, что я потеряю руку, ногу, глаза. Но к этому можно отнестись по-разному: несчастья будут искусом и материалом для книг. Я научился терпеливо сносить огорчения и болезни, я видел в них первые признаки моей триумфальной смерти, ступени, которые она вытесывала, чтобы поднять меня до себя. Эта грубоватая заботливость была не лишена приятности, мне хотелось стать достойным ее. Чем хуже — тем лучше, считал я; даже от моих ошибок была польза, и, значит, я их не совершал. В десять лет я был самонадеян; скромный и несносный, я не сомневался, что мои поражения залог посмертной победы. Пусть я ослепну, потеряю ноги, собьюсь с пути,

чем больше сражений я проиграю, тем верней выиграю войну. Я не делал никаких различий между испытаниями, предначертанными избранникам, и неудачами, за которые я сам нес ответственность, — поэтому мои провинности казались мне, в сущности, злоключениями, а в невзгодах я усматривал собственный промах; в самом деле, если я подхватывал болезнь — будь то корь или насморк, — я заявлял, что сам виноват: не проявил должной осмотрительности, забыл надеть пальто или шарф. Я предпочитал обвинять себя, а не мир; не по доброте душевной, но чтобы зависеть только от себя самого. Надменность не исключала смирения; я тем охотнее признавал свои слабости, что они обеспечивали мне кротчайший путь к добру. Это было удобно — движение жизни неодолимо влекло меня за собой, вынуждая непрерывно совершенствоваться, хочу я того или нет.

Всем детям известно, что они делают успехи. Впрочем, им не позволяют об этом забыть: «Добивайся успеха», «Он успевает», «Регулярные и серьезные успехи…» Взрослые излагали нам историю Франции: после Первой республики, не слишком надежной, пришла Вторая, а затем Третья — на этот раз хорошая: бог троицу любит.

Сводом буржуазного оптимизма была в ту пору программа радикалов: рост изобилия, устранение пауперизма путем распространения знаний и системы мелкой собственности. Нам, молодым господам, этот оптимизм преподносили в приспособленном для нашего возраста виде, и мы с удовлетворением замечали, что наши индивидуальные успехи воспроизводят успехи нации. И, однако, только немногие из нас хотели пойти дальше своих отцов, для большинства все сводилось к достижению зрелости, после чего рост и развитие прекратятся, зато окружающий мир сам по себе сделается лучше и комфортабельней. Некоторые ждали этого момента с нетерпением, иные со страхом, иные с грустью. Что касается меня, то до посвящения в сан я относился к росту с полнейшим безразличием — мне было начхать на право облачиться в тогу совершеннолетия. Дед находил меня маленьким и огорчался. «Он пошел в Сартров», — говорила бабушка, чтобы его позлить. Шарль делал вид, что не слышит, ставил меня перед собой, мерил взглядом и произносил, наконец, не слишком убежденно: «Он растет!» Я не разделял ни его озабоченности, ни его надежд: ведь и дурная трава быстро растет; можно стать большим, оставаясь дурным. Для меня в ту

пору самое главное было остаться хорошим in aeternum[6]. Но все изменилось, когда моя жизнь приобрела ускорение: поступать хорошо было уже недостаточно, стало необходимо с каждым часом поступать лучше. Я подчинил себя одной заповеди — карабкаться вверх. Чтобы дать пищу своим претензиям и замаскировать их непомерность, я поступал, как все: в моих нетвердых детских успехах усматривал предвестия своей судьбы. Я действительно делал успехи, незначительные и вполне обычные, но они создавали у меня иллюзорное ощущение подъема.

Ребенок, привыкший работать на публику, публично я придерживался мифа своего класса и своего поколения: человек извлекает пользу из приобретенного, накапливает опыт, настоящее богато уроками прошлого. Наедине с самим собой я этим отнюдь не удовлетворялся. Я не мог согласиться с тем, что бытие даруется извне, сохраняется по инерции, что любое движение души есть следствие предшествующего движения. Весь, целиком, я был порожден грядущим ожиданием, оно наделило меня лучезарностью, я мчался вперед, и каждое мгновение вновь и

[6] Примечания: 6
Навечно (*лат.*).

вновь повторяло ритуал моего появления на свет; я рассматривал свои сердечные порывы, как искры внутреннего огня. Чем же я могу быть обязан прошлому? Не оно меня создало, это я, напротив, восстав из пепла, исторгал из небытия свою память, воссоздавая ее снова и снова. Я возрождался всякий раз лучшим, я пробуждал и полнее использовал еще нетронутые запасы своей души по той простой причине, что смерть, надвигавшаяся неотвратимо, все резче озаряла меня своим темным светом. Мне часто говорили: прошлое нас подталкивает, но я был убежден, что меня притягивает будущее; мне было б ненавистно ощутить в себе работу размеренных сил, медленное созревание задатков. Я загнал плавный прогресс буржуа в свою душу, я превратил его в двигатель внутреннего сгорания; я подчинил прошлое настоящему, а настоящее будущему, я отринул безмятежную эволюционность и избрал прерывистый путь революционных катаклизмов. Несколько лет назад кто-то отметил, что герои моих пьес и романов принимают решения внезапно и стремительно — к примеру, в «Мухах» переворот в душе Ореста происходит мгновенно. Черт побери, я творю этих героев по своему образу и подобию; не такими, разумеется, каков я

есмь, но такими, каким я хотел бы быть.

Я сделался предателем и им остался. Тщетно я вкладываю всего себя во все, что затеваю, целиком отдаюсь работе, гневу, дружбе — через минуту я отрекусь от себя, мне это известно, я хочу этого и, радостно предвосхищая измену, уже предаю себя в самый разгар увлечения. В общем, я держу слово не хуже других, но, будучи постоянным в привязанностях и манере поведения, не храню верности эмоциям: было время, когда любой памятник, портрет или пейзаж мне казался самым прекрасным потому только, что я видел его последним; я сердил друзей, цинично или просто небрежно посмеиваясь — чтоб убедиться, что меня все это больше не трогает, — над каким-нибудь общим воспоминанием, по-прежнему дорогим для них. Недолюбливая себя, я убегал вперед; в результате я люблю себя еще меньше, неумолимое поступательное движение непрерывно обесценивает меня в собственных глазах — вчера я поступил плохо, ибо это было вчера, и я предвижу сегодня, сколь суров будет завтра мой приговор себе. Главное, никакого панибратства: я держу прошлое на почтительном расстоянии. Отрочество, зрелость, даже истекший год — все было до переворота; сейчас грядет новое царство,

но настанет оно, когда рак свистнет. Первые годы жизни в особенности вымараны мной начисто; взявшись за эту книгу, я вынужден был потратить много времени на расшифровку перечеркнутого. Когда мне было тридцать лет, друзья удивлялись: «Можно подумать, что у вас не было ни родителей, ни детства». Болван, мне это льстило. И, однако, я люблю, уважаю смиренную и цепкую преданность вкусам, желаниям, давним замыслам, отошедшим радостям, присущую некоторым людям — особенно женщинам, я восхищаюсь их стремлением сохранить верность себе при всех переменах, сберечь память о прошлом, унести в гроб первую куклу, молочный зуб, первую любовь. Я знавал мужчин, которые на склоне лет сходились с постаревшей женщиной потому только, что желали ее в юности; другие не прощали обид даже мертвым и, хоть тресни, не соглашались покаяться во вполне простительном грехе, совершенном двадцать лет назад. Я не злопамятен и готов все признать; у меня прекрасные данные для самокритики, при одном условии — чтоб мне ее не навязывали. В 1936 или в 1945 году кто-то досадил человеку, носившему мое имя: какое мне до этого дело? Его оскорбили, он утерся; я списываю это по графе его убытков

— дурак, не умел даже заставить уважать себя. Встречает меня старый друг, излагает претензии: вот уже семнадцать лет, как он на меня в обиде, при таких-то обстоятельствах я был невнимателен к нему. Смутно помню, что нападал, защищаясь, что упрекал его тогда в чрезмерной подозрительности, в мании преследования — короче говоря, у меня была собственная версия случившегося; тем охотней я принимаю теперь его точку зрения: я с ним полностью соглашаюсь, я виню во всем себя: я держался, как человек тщеславный, эгоистичный, я бессердечен; весело рублю направо и налево. наслаждаюсь тем, что все понял; раз мне так легко признать ошибки — значив, я не могу их повторить. Поверите ли? Моя лояльность, легкость покаяния только раздражают истца. Он. мол, меня раскусил, я над ним издеваюсь. Он сердится на меня — на нынешнего, прошлого, такого, каким он меня знает всю жизнь. *Всегда одного и того же*, а я оставляю ему недвижные останки ради удовольствия ощутить себя *новорожденным*. Кончается тем, что меня тоже разбирает злость на этого одержимого, выкапывающего трупы. И напротив, если кто-нибудь напоминает мне случай, когда я, говорят, не осрамился, жестом прекращаю разговор; меня

считают скромным, ничего подобного, я просто уверен, что сегодня поступил бы лучше, а завтра — *гораздо* лучше. Пожилым писателям обычно не по вкусу слишком рьяные хвалы их первому произведению, но, безусловно, меньше всех это радует меня. Моя лучшая книга — та, над которой я работаю; затем следует только что опубликованная, но отвращение к ней уже исподволь зреет во мне и скоро найдет выход. Сочти ее критики плохой, сегодня они меня, возможно, ранят, через полгода я буду близок к их мнению. Но с одной оговоркой — каким бы ничтожным и плоским ни находили они это произведение, я хочу, чтоб они ставили его выше всего созданного мною раньше; я согласен, чтоб мое творчество в целом было охаяно, но хронологическая иерархия должна быть соблюдена, она — единственный залог того, что завтра я создам нечто лучшее, послезавтра еще лучшее и кончу шедевром.

Я, разумеется, не обольщаюсь, я отлично вижу, что мы повторяемся. Но это понимание, обретенное позднее, хоть и подтачивает стародавние представления, не может разрушить их окончательно. Есть в моей жизни несколько крутых свидетелей, которые со мной не миндальничают, они нередко ловят меня на том, что я иду по

проторенной дорожке. Мне говорят об этом. я верю, но вдруг в последнюю минуту нахожу, что вс прекрасно: еще вчера я был слеп, а сегодня намечается прогресс — ведь я понял, что перестал прогрессировать. Иногда я сам выступаю как свидетель обвинения. Например, я замечаю, что мне могла бы пригодиться страница, написанная два года назад. Ищу ее. не нахожу. Тем лучше: но лени я чуть не всунул в новую работу старье — я пишу сейчас намного точнее, сделаю все заново. Кончив работу, случайно нападаю на пропавшую страницу. Столбенею: если не считать нескольких запятых, я выразил ту же мысль в тех же словах. Поколебавшись, выкидываю в корзину этот устарелый документ, сохраняя вторую редакцию: чем-то она совершеннее прежней. Одним словом, устраиваюсь как могу — гляжу трезво, но плутую с собой, чтоб ощутить и сейчас, вопреки разрушительной работе старости. молодое опьянение альпиниста.

В десять лет эти мании и самоповторы мне были неведомы, сомнения чужды: быстрый, болтливый, завороженный зрелищем улицы, я не переставал менять кожу. на ходу сбрасывая один за другим свои выползки. Поднимаясь по улице Суффло, в каждом своем шаге, в ослепительном

блеске уходящих назад витрин я ощущал бег собственной жизни, ее закон и великолепное право ничему не хранить верность. Все мое всегда было со мной. Вот бабушка хочет пополнить свой столовый сервиз, я сопровождаю ее в магазин стекла и фарфора; она указывает на супницу, крышку которой венчает красное яблоко, на тарелки с рисунком в цветочек. Это не совсем то, что ей нужно, на ее тарелках есть, разумеется, цветочки, но там еще коричневые насекомые, ползущие по стебелькам. Лавочница тоже воодушевляется, она понимает, чего хочет клиентка, у нее такие были, но их вот уже три года как не выпускают; эта модель новее, дешевле, и потом — с насекомыми или без насекомых — цветы остаются цветами, не так ли, незачем — вот уж точно к слову пришлось — искать блох. Бабушка не согласна, она настаивает на своем: нельзя ли взглянуть на складе? Можно, разумеется, но это потребует времени, у лавочницы нет помощников, продавец как раз ушел от нее. Меня пристраивают в уголке, приказав ничего не трогать, обо мне забывают; я подавлен хрупкостью окружающих меня предметов, их пыльным поблескиваньем, посмертной маской Паскаля, ночным горшком в виде головы президента Фальера. Однако я

второстепенный персонаж лишь по видимости. Так некоторые писатели выталкивают на авансцену служебные фигуры, а главного героя представляют бегло, вполоборота. Читателя не обманешь: он перелистал последние страницы, чтоб посмотреть, хорошо ли кончается роман, он знает: у бледного юноши, прислонившегося к камину, за душой триста пятьдесят страниц. Триста пятьдесят страниц любви и приключений. У меня по меньшей мере пятьсот. Я герой длинной истории со счастливым концом. Я перестал ее себе рассказывать — зачем? Я чувствовал себя героем романа — этого достаточно. Время тянуло назад старых озабоченных дам, цветы на фаянсе, лавку, черные юбки выцветали, голоса становились ватными, мне было жаль бабушку — во второй части ее, конечно, не найдут. А я был началом, срединой и концом, сведенными воедино в маленьком мальчике, уже старом, уже мертвом, *здесь*, в сумраке лавки, среди высоких, выше его головы, стопок тарелок, и там, *вовне*, далеко-далеко, под ослепительно-ярким траурным солнцем славы. Я был частицей в начале ее траектории и потоком волн, отраженным преградой в конце пути. Собранный, напряженный, одной рукой касающийся могилы, другой — колыбели,

я ощущал себя мгновенным и великолепным, вспышкой молнии, поглощенной мраком.

И все же скука меня не оставляла — иногда едва уловимая, иногда тошнотворная; не в силах ее вынести, я уступал роковому соблазну. Из-за нетерпения Орфей потерял Эвридику, из-за нетерпения я нередко терял себя. Ошалев от безделья, я, случалось, оглядывался на свое безумие, меж тем как следовало о нем забыть, держать его под спудом, сосредоточив внимание на внешнем мире; в такие минуты мне хотелось *осуществить себя* немедля, объять единым взором полноту жизни, распиравшую меня, когда я об этом не думал. Катастрофа! Поступательное движение, оптимизм, веселые измены и тайная целенаправленность, все, что было добавлено мной лично к прорицанию госпожи Пикар, — летело к черту. Прорицание оставалось, однако что мне было с ним делать? Вещее, но пустое, в своем стремлении спасти каждое мое мгновение, оно нивелировало все их: будущее, лишенное жизненных соков, обращалось в сухой каркас, я снова обнаруживал ущербность своего бытия и замечал. что мне так и не удалось найти ему оправдание.

Воспоминание без даты — я на скамье в Люксембургском саду: Анн-Мари попросила меня

посидеть подле нее, потому что я слишком много бегал и вспотел. Такова, во всяком случае, реальная связь причин и следствий. Но мне до того скучно, что я высокомерно выворачиваю все наизнанку: я бегал, потому что было *нужно*, чтоб я вспотел и дал тем самым матери возможность меня позвать. Все вело к этой скамейке, все должно было к ней привести. Какова ее роль? Не знаю и сначала не думаю об этом, из всех впечатлений, коснувшихся меня, ни одно не будет утрачено: существует цель, позднее я ее познаю, мои племянники ее познают. Болтаю короткими ногами, недостающими до земли, вижу мужчину с пакетом, горбунью — это пригодится. Повторяю в экстазе: «Сидеть здесь чрезвычайно важно». Становится еще скучнее; не могу сдержаться, рискую заглянуть в себя: я не требую сенсационных открытий, но хотелось бы догадаться о смысле этой минуты, почувствовать ее необходимость, насладиться хоть чуть-чуть тем врожденным даром прозрения, который я приписываю Мюссе или Гюго. Естественно, не нахожу ничего, сплошной туман. Абстрактный постулат моего предназначения и примитивное ощущение моего бытия сосуществуют бок о бок, не сталкиваясь, не сливаясь. Хочу одного

— бежать от себя, вновь обрести увлекавшую меня оглушительную скорость; тщетно — очарование нарушено. У меня мурашки в ногах, не нахожу себе места. Весьма кстати небо поручает мне новую миссию — я должен во что бы то ни стало сорваться с места. Прыгаю со скамейки, лечу во весь дух; в конце аллеи оборачиваюсь: ничто не дрогнуло, ничто не изменилось. Прячу разочарование. сплетаю очередную историю: в Орильяке, в меблированной комнате, году в 1945 — я настаиваю на этом выяснятся неоценимые последствия моей пробежки. Твержу, что доволен, взвинчиваю себя; чтобы отрезать пути отступления святому духу, выражаю ему доверие: остервенело клянусь быть достойным тех возможностей, которые он мне предоставил. Все это белыми нитками шито, сплошная игра на нервах, я знаю. Мать уже тут как тут — шерстяной свитер, шарф, пальто: она меня кутает, безвольно отдаюсь в ее руки. Впереди еще улица Суффло, усы привратника, господина Тригона, покашливание гидравлического лифта. Наконец несчастный маленький претендент в кабинете, слоняется от стула к стулу, листает и отбрасывает книги. Подхожу к окну, вижу муху под занавеской, ловлю ее в муслиновые силки, заношу

смертоносный палец. Это номер вне программы, выгородка, момент, изъятый из времени, застывший в неподвижности, единственный в своем роде, он не повлечет за собой никаких последствий — ни сегодня вечером, ни позже, Орильяк никогда не узнает об этой замутненной вечности. Человечество дремлет, ну а выдающийся писатель — святой, который мухи не обидит, — как раз вышел. Одинокий ребенок, лишенный в эту стоячую минуту какого бы то ни было будущего, ищет в убийстве сильных ощущений; раз мне не дано настоящей человеческой судьбы, стану сам вершителем судеб — хотя бы для этой мухи. Не спешу, пусть догадается, что над ней склонился великан: палец все ближе… раздавил, вот обида! Не надо было ее убивать, черт возьми! Из всего сущего она была единственной тварью, боявшейся меня; теперь со мной не считается никто. Насекомоубийца, я занимаю место жертвы, я сам насекомое. Я муха, всегда был мухой. Дальше некуда. Остается только взять со стола «Приключения капитана Коркорана», плюхнуться на ковер, открыть наугад сотни раз читанную книжку; чувствую себя таким выпотрошенным, таким грустным, что утомленные нервы сдают, с первой строчки забываю обо всем. В пустынном

кабинете гонит зверя капитан Коркоран, в руках карабин, ручная тигрица рядом; непроходимые тропические заросли торопливо обступают их — вдалеке я посадил деревья, обезьяны скачут с ветки на ветку. Вдруг Луизон — тигрица — принимается рычать, Коркоран замирает, враг близко. Именно этот захватывающий момент избирает моя слава, чтобы вернуться восвояси, человечество — чтобы внезапно пробудиться и призвать меня на помощь, святой дух — чтоб прошептать мне переворачивающие душу слова: «Ты не искал бы меня, если б уже не нашел». Напрасная лесть, кто здесь ее услышит, кроме отважного Коркорана? Но тут, точно он только и ждал этого заявления, возвращается выдающийся писатель; внучатый племянник склоняет белокурую голову над историей моей жизни, слезы навертываются ему на глаза, грядущее восходит, бесконечная любовь обволакивает меня, огни кружатся в моем сердце: не двигаюсь, не обращаю внимания на иллюминацию, не отрываюсь от книги. Огни наконец гаснут: ничего не чувствую, кроме ритма, неодолимой тяги вперед, я трогаюсь с места, сдвинулся, двигаюсь, мотор стучит. Я ощущаю скорость моей души.

Таково мое начало: я бежал, внешние силы

определили характер моего бега. сформировали меня. Сквозь устарелую концепцию культуры просвечивала религия, она служила образчиком, — всем тем, что в ней было детского, она была по сердцу ребенку. Со мной занимались священной историей. Евангелием, катехизисом. но возможности верить не дали: это привело к беспорядку. ставшему моим собственным порядком. В процессе горообразования произошло смещение коры: идея святости, позаимствованная у католицизма, была вложена в изящную словесность, я не сумел стать верующим, поэтому увидел эрзац христианина в литераторе; делом его жизни было искупление, пребывание в земной юдоли имело одну цель — достойно пройти через испытания и заслужить посмертное блаженство. Кончина свелась к ритуалу перехода, и земное бессмертие предложило свои услуги в качестве субститута вечной жизни. Чтоб гарантировать собственную нетленность в сознании человечества, я умозаключил, что и само оно пребудет всегда. Угаснуть в его лоне значило родиться и обрести бесконечность, но если бы передо мной высказали гипотезу о гибели планеты в результате какого-нибудь катаклизма, пусть даже через пятьдесят тысяч лет, я пришел

бы в ужас; еще и сейчас, утратив все иллюзии, я не могу без страха думать о том, что солнце остынет; пусть люди забудут обо мне на следующий день после похорон, это меня не трогает; я неотделим от них, пока они живы, неуловимый, безымянный, сущий в каждом, как во мне самом присутствуют миллиарды почивших, которых я не знаю, но храню от уничтожения; но если человечество исчезнет, оно в самом деле убьет своих мертвецов.

Миф был несложен, я переварил его без труда. Сын двух церквей — протестантской и католической, — я не мог верить в святых, деву Марию и даже в бога, пока их называли этими именами. Но на меня воздействовала огромная коллективная сила — то была вера других; угнездившись в моем сердце, она ждала своей минуты: стоило переименовать предмет ее поклонения и слегка изменить его облик, как она, узнав его под маской. которая меня ввела в заблуждение, кинулась, вцепилась в него когтями. Я думал, что отдаюсь литературе, а на самом деле принял постриг. Убежденность смиреннейшего из верующих обернулась во мне надменной уверенностью в своем предназначении. Предназначении? Почему бы нет? Разве не каждый христианин избранник божий? Я рос

сорняком на унавоженной почве католицизма, мои корни впитывали ее соки, наливались ими. Оттого-то я тридцать лет глядел не видя. В 1917 году в Ла Рошели я как-то утром ждал товарищей, мы должны были вместе идти в лицей; они опаздывали; не зная, как развлечься, я решил думать о всемогущем. В то же мгновение он кубарем скатился по лазури и исчез без всяких объяснений. Он не существует, сказал я себе с вежливым удивлением и счел дело покончeнным. В некотором роде все действительно было кончено, поскольку с той поры у меня никогда не возникало желания воскресить его. Но остался другой. незримый, святой дух. гарантировавший выданные мне полномочия и правивший моей жизнью с помощью безымянных, великих священных сил. От него было тем трудней избавиться, что он обосновался в тылах моего мозга, среди тех полученных из-под полы терминов, которыми я пользовался, чтоб понять себя, свое место в жизни, смысл своего существования. Еще *долго* я писал только для того, чтобы умолить смерть переряженную религию, — вырвать свою жизнь из когтей случайности. Я предался церкви. Воинствующий ее адепт, я искал спасения в творчестве; мистик, я пытался вторгнуться в молчание бытия раздра-

жающим шорохом слов, и, главное, я подставлял имена на место вещей: это и значит веровать. Мой взор помрачился. Пока длилось затмение, я считал, что выпутался. В тридцать лет я с успехом проделывал лихой фокус: описал в «Тошноте» — и, поверьте мне, совершенно искренне — горечь бесцельного, неоправданного существования себе подобных, как будто я сам тут ни при чем. Конечно, я *был* Рокантеном, без всякого снисхождения я показывал через него ткань моей жизни, но в то же время я был «я», избранник, летописец ада, фотомикроскоп из стекла и стали, нацеленный на свою собственную протоплазмическую жидкость. Позднее я весело объяснял, что человеку невозможно быть собой: я тоже не мог быть собой, но зато я обладал мандатом, который давал мне право раскрыть эту невозможность, преобразив ее тем самым в возможность, дарованную мне одному, объект своей миссии, трамплин своей славы. Я был пленником этих очевидных истин, но не замечал их — я видел мир сквозь них. Подделка до мозга костей, плод мистификации, я радостно писал о том, сколь тягостны условия человеческого существования. Догматик, я сомневался во всем, только не в том, что сомнение — знак моего избранничества; я

восстанавливал одной рукой то, что разрушал другой, считал колебания залогом своей устойчивости. Я был счастлив.

С тех пор я переменился. Я расскажу позднее, какие кислоты разъели прозрачный панцирь, который деформировал меня, как и когда я познакомился с насилием, обнаружил свое уродство — оно надолго стало моей негативной опорой, жженой известью, растворившей чудесное дитя, — какие причины заставили меня, систематически мыслить наперекор себе, до такой степени наперекор, что чем сильнее досаждало мне мое собственное суждение, тем очевиднее была для меня его истинность. Иллюзия предназначения рассыпалась в прах; муки, искупление, бессмертие — все рухнуло, от здания, воздвигнутого мной, остались только руины, святой дух был настигнут мной в подвале и изгнан; атеизм — предприятие жестокое и требующее выдержки, думаю, что довел дело до конца. Я все вижу ясно, не занимаюсь самообманом, знаю свои задачи, наверняка достоин награды за гражданственность; вот уже десять лет, как я — человек, очнувшийся после тяжелого, горького и сладостного безумия: трудно прийти в себя, нельзя без смеха вспоминать свои заблуждения,

не известно, что делать со своей жизнью. Я вновь, как в семь лет, стал безбилетным пассажиром; контролер вошел в мое купе, глядит на меня, хоть и не так сурово, как раньше: в сущности, он готов уйти, дать мне спокойно доехать до конца; нужно только, чтоб я сослался на извиняющие обстоятельства, безразлично какие, он удовлетворится чем угодно. К сожалению, я ничего не нахожу, впрочем, мне и искать неохота; так мы и поедем вдвоем, смущая друг друга, до самого Дижона, где меня — я отлично это знаю — никто не ждет.

Я изверился, не не отступился. Я по-прежнему пишу. Чем еще заниматься?

Nulla dies sine linea[7].

Это привычка и потом это — моя профессия. Я долго принимал перо за шпагу, теперь я убедился в нашем бессилии. Неважно: я пишу, я буду писать книги; они нужны, они все же полезны. Культура ничего и никого не спасает, да и не оправдывает. Но она — создание человека: он себя проецирует в нее, узнает в ней себя; только в этом критическом зеркале видит он свой облик. К тому же дряхлое, обветшалое здание — мой самообман, это и мой характер, от невроза можно

---

[7] Примечания: 7
Ни дня без строчки (*лат.*).

избавиться, от себя не выздоровеешь. В пятьдесят лет я сохранил свои детские черты, пусть и изношенные, стершиеся, попранные, загнанные вглубь, лишенные права голоса. Обычно они прячутся в тени, подстерегают; чуть ослабишь внимание — они поднимают голову и, замаскировавшись, вырываются на белый свет. Я искренне убежден, что пишу для современников, но известность раздражает меня — это не слава, ведь я еще жив, и все же это подрывает мои давние мечты. Значит, втайне я еще их питаю? И да и нет. Очевидно, я их видоизменил: мне не удалось уйти из жизни неоцененным, но иногда я льщу себя надеждой, что при жизни меня недооценивают. Гризельда не умерла. Пардальян еще во мне. И Строгов. Я весь — от них, они — от бога, а в бога я не верю. Поди разберись. Что до меня, я в этом так и не разобрался и порой думаю: уж не играю ли я в старую игру — поддавки? Не топчу ли я так старательно былые упования в расчете на возмещение сторицей? В таком случае я Филоктет: величественный и зловонный, этот калека отдал все, вплоть до лука и стрел, не ставя никаких условий; но, поверьте, втайне он ждет воздаяния.

Оставим это. Мами сказала бы: «Здесь скользко

— будьте осторожны!»

Но в моем безумии есть и хорошая сторона: с первого дня оно хранило меня от искушения причислить себя к «элите», я никогда не считал, что мне выпала удача обладать «талантом»; передо мной была одна цель — спастись трудом и верой, руки и карманы были пусты. Мой ничем не подкрепленный выбор ни над кем меня не возвышал: ничем не снаряженный, ничем не оснащенный, я всего себя отдал творчеству, чтобы всего себя спасти. Но что остается, если я понял неосуществимость вечного блаженства и отправил его на склад бутафории? Весь человек, вобравший всех людей, он стоит всех, его стоит любой.

1974